

Джордж ОРУЭЛЛ



Все романы
в одном томе

Джордж Оруэлл

Все романы в одном томе

«Издательство АСТ»

«ФТМ»

1934,1935,1936,1939,1945,1949

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Оруэлл Д.

Все романы в одном томе / Д. Оруэлл — «Издательство АСТ»,
«ФТМ», 1934,1935,1936,1939,1945,1949

ISBN 978-5-17-105094-8

В этот сборник включены ВСЕ романы Оруэлла. «Дни в Бирме» — жесткое и насмешливое произведение о «белых колонизаторах» Востока, единых в чувстве превосходства над аборигенами, но разобщенных внутренне, измученных снобизмом и мелкими распрями. «Дочь священника» — увлекательная история о том, как простая случайность может изменить жизнь до неузнаваемости, превращая глубоко искреннюю Веру в простую привычку. «Да здравствует фикус!» и «Глотнуть воздуха» — очень разные, но равно остроумные романы, обыгрывающие тему столкновения яркой личности и убого-мещанских представлений о счастье. И, конечно же, непревзойденные «1984» и «Скотный двор».

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

© Оруэлл Д., 1934,1935,1936,1939,1945,1949

ISBN 978-5-17-105094-8

© Издательство

АСТ, 1934,1935,1936,1939,1945,1949

© ФТМ, 1934,1935,1936,1939,1945,1949

Содержание

Дни в Бирме	5
1	5
2	11
3	21
4	28
5	34
6	40
7	48
8	53
9	58
10	61
11	65
12	70
13	74
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Джордж Оруэлл

Все романы в одном томе

Дни в Бирме

*В пустынных сумрачных лесах
Под сенью ветвей задумчивых.
Шекспир. Как вам это понравится*

1

У По Кин, старший судья Кьяктады, Верхняя Бирма¹, сидел на веранде. Было лишь пол-девятого утра, но утро было апрельским, и наплывавшая жара уже грозила зноем томительных дневных часов. Редкие вздохи ветерка, казавшегося в духоте даже прохладным, покачивали гроздья свисающих с карниза еще росистых орхидей. За орхидеями виднелся пыльный кривой ствол пальмы, а далее – синее ослепительное небо. В нестерпимо режущей глаз солнечной вышине кружила стая едва различимых парящих грифов.

Застыв громадным фарфоровым божком, У По Кин пристально, не мигая, глядел на солнце. Немолодой и такой грузный, что уж давно не мог самостоятельно встать со стула, он, однако, выглядел вполне ладным, даже красивым в своей тучности – у бирманцев плоть с возрастом не оплывает буграми складок, как у белых, а гладко наливается, подобно спелым плодам. Все его одеяние состояло из обычного в местном быту клетчатого изумрудно-малинового аракнезского лонджи²; в пол упирались босые пухлые ступни очень кривых коротких ног с пальцами одинаковой длины. Голова была наголо обрита, глаза на широком, без единой морщины лице темнели рыжим янтарем. Угощаясь листьями из стоявшего на столе лакированного ларчика, У По Кин жевал бетель и думал о прожитых годах.

Жизнь сложилась блестяще. Самое раннее воспоминание хранило чувства голопузого малыша, видевшего в 1880-х победный марш британцев на Мандалай³. Помнился ужас от колонн красных мундиров краснолицых гигантов, пожирателей коров, помнились длинные винтовки за их спинами и мерный грохот их башмаков. Заставивший удрать подальше детский страх вмиг почуял безнадежность состязания между своим народом и племенем этих великанов. С тех самых пор определилась цель – примкнуть, пиявкой присосаться к могучим чужакам.

В семнадцать лет он попытался найти место подле администрации новых властей, но безродному оборванцу это не удалось, и три года пришлось шнырять по закоулкам мандалайских базаров, прислуживая, а иногда и воруя. В двадцать ему повезло – добыв удачным шантажом четыре сотни рупий, он тотчас поехал в Рангун, в столицу, где за взятку купил себе официальную должность.

¹ Территория в бассейне верхнего течения главной бирманской реки Иравади; наименее заселенный район лесных джунглей. Действие романа происходит в 1920-е годы, когда Бирма была окраинной провинцией Британской Индии. Таким образом, «Верхняя Бирма» означает «самая глушь индийской колониальной глухомани».

² Лонджи (*лонджи*) – популярный в странах Юго-Восточной Азии вид как мужской, так и женской одежды, представляющий собой сшитое цилиндром и надетое на голое тело тканое полотнище, верхний край которого завязывают особым узлом у подмышек или на талии. Родиной считается Аракан, некогда самостоятельное государство, а ныне область на юго-западе Бирмы (Мьянмы).

³ Мандалай – город в Центральной Бирме, порт на реке Иравади.

Местечко, несмотря на мизерное жалование, оказалось довольно теплым. В те времена банде чиновников шла постоянная нажива от расхищения имперских портовых складов, и По Кин (тогда еще просто По Кин, почтительное «У» добавилось гораздо позже), естественно, занялся тем же. Впрочем, не по его талантам было скромно таскать гроши да крохи. Однажды власти вознамерились расширить младший начальственный состав введением туда туземных служащих; приказ только готовился, но даровитый По Кин умел, в частности, все пронюхать неделей раньше остальных. И он не упустил свой шанс – донес на сослуживцев прежде, чем те почуяли опасность. Большинство вороватой чиновной мелюзги отправилось за решетку, а честного По Кина наградили местом помощника квартального инспектора. С тех пор он регулярно получал повышения. Будучи ныне, в свои пятьдесят шесть, судьей округа, он вскоре мог, пожалуй, занять высокий пост представителя комиссара, то есть добиться положения наравне с англичанами и даже выше многих из них.

Судейская система У По Кина была проста. Ни за какие дары он не стал бы выносить незаконный приговор, ибо знал – рано или поздно продажный судья попадется. Его мудрый, надежный метод состоял в том, чтобы, приняв взятки обеих спорящих сторон, решать дело строжайше по закону. Это, кстати, весьма укрепляло служебную репутацию. А в части доходов, помимо взяток от клиентов, он учредил некую твердую личную дань с подведомственных деревень; неплательщики карались нашествием бандитских шаек, либо арестами старейшин по сфабрикованным обвинениям, либо иными бедами, которые кончались лишь при полном расчете. Судье также выплачивалась доля от грабежей в его районе. И все это, конечно, было известно всем (кроме тупо уверенного в подчиненных британского начальства), но попытки разоблачения терпели крах, так как любого обвинителя У По Кин с легкостью позорил толпой подкупленных свидетелей, потоком встречных обвинений и в итоге набирал еще больший вес. Фактически он был неуязвим: во-первых, отличался безупречным судейством, а во-вторых, тонко ведя свои интриги, не допускал тут ни ошибок, ни небрежности. Будущее его рисовалось ясно – и далее от успеха к успеху вплоть до пышнейших похорон почтеннейшего богача.

И даже смерть не остановит этот счастливый путь. Буддисты верят, что творивший зло человек при следующем рождении явится жабой, крысой или иной мерзкой тварью, а У По Кин был истовым буддистом, но он намеревался предотвратить эту грозящую опасность. Конец жизни он посвятит свершению праведных деяний, сумма которых перевесит бремя грехов. К заслугам добродетели относится, например, возведение пагод. Что ж, он построит четыре пагоды, и пять, и шесть, и семь (монахи скажут, сколько надо!), выстроит пагоды с ажурной каменной резьбой, золочеными круглыми крышами, с множеством звенящих на ветру, поющих каждый свою хвалу небу колокольчиков. И возродится человеком – не женщиной, что означало бы разряд, подобный крысам и лягушкам, – а именно мужчиной или уж в крайнем случае мощным и величавым слоном.

Мысли текли в сознании У По Кина преимущественно цепочкой картинок; мозг его, хоть и хитроумный, был все же варварским, не слишком склонным к абстрактному мышлению. Но вот сюжеты данной темы истожились. Уперев толстые кульки рук в подлокотники, У По Кин слегка повернулся и крикнул, вернее, просипел:

– Ба Тайк! Эй, Ба Тайк!

Из-за бисерной шторы мигом возник слуга – малорослый рябой человечек, забитый и явно недокормленный (осужденному воришке под постоянной угрозой одним словом отправить его в тюрьму хозяин не платил ни гроша). Двигался Ба Тайк крадучись, кланяясь так низко, что приближение его виделось робким отступлением.

– Слушаю, наисвятейший.

– Есть кто-нибудь ко мне?

Ба Тайк по пальцам перечислил посетителей:

– Там, ваша честь, деревенский староста из Титпингаи – принес подарки, и двое избитых деревенских жаловаться пришли, тоже с подарками. Еще вас желает видеть Ко Ба Сейн⁴, старший клерк из Управления. Потом еще констебль Али Шах и бандит, как зовут, не знаю, – ссора вроде бы из-за браслетов, которые они вместе украли. Девчонка еще деревенская с младенцем.

– Ей чего?

– Говорит, младенец от вас, наисвятейший.

– А-а! Сколько принес староста?

Ба Тайк доложил, что всего лишь десять рупий и корзину манго.

– Скажи старосте, – распорядился У По Кин, – с него положено двадцать рупий, плохо будет ему и всей деревне, если завтра же денег не принесет. Теперь приму других. Позови ко мне Ко Ба Сейна.

Тотчас явился Ба Сейн, узкоплечий, очень высокий для бирманца, со светло-кофейным, удивительно неподвижным лицом. У По Кин считал его весьма полезным, ведь от этой прилежной, начисто лишенной воображения деревяшки мистер Макгрегор, представитель комиссара в Управлении, не скрывал ничего. После мысленной ревизии своих успехов У По Кин встретил гостя благодушно, любезно махнув ладонью на ларчик с бетелем.

– Ну, уважаемый Ба Сейн, что ж наше дело? Надеюсь, как сказал бы дорогой наш мистер Макгрегор, – тут судья перешел на английский, – «некоторый, м-м, прогресс, м-м, наблюдается»?

Не улыбнувшись шуточке, торчащий сухой жердью на стуле для посетителей Ба Сейн ответил:

– Прекрасно, сэр. Утром получено, взгляните.

Он протянул экземпляр двуязычной газеты «Сыны Бирмы», скверно отпечатанного на шершавой, едва ли не оберточной бумаге восьмистраничного листка, сляпанного из новостей столичного «Рангунского вестника» и всякой высокопарной чуши местных националистов. На последней странице шрифт смазался траурной пеленой, будто в знак скорби о непопулярности издания. Статья, интересующая У По Кина, гласила:

«В эру счастья, когда нас, жалких темнокожих, озарил свет великой западной культуры, подарившей кино, винтовки, пулеметы, сифилис и другие неисчислимые блага, что может воодушевить сильнее, нежели сама жизнь наших белых благодетелей? Читателю, несомненно, будут любопытны кое-какие сценки на просторах родной Кьяктады. Особенно если героем их предстанет наш глава, представитель комиссара, досточтимый мистер Макгрегор.

Благороднейший мистер Макгрегор являет собой тот тип Истинного Джентльмена, образчики коего ныне столь часто радуют наш взор. Он, по выражению дражайших европейских братьев, «опора семьи и общества». О да, мистер Макгрегор чрезвычайно предан семейным ценностям! Настолько, что за год успел обзавестись в Кьяктаде тремя детишками, а на предыдущем месте службы, в округе Шуэмо, породил шестерых потомков. Видимо, лишь рассеянностью мистера Макгрегора объясняется то, что своих чад с их матерями он оставил без какой-либо помощи, предоставив им хиреть и голодать, и...»

Текст, занимавший целый столбец и выделенный особым набором, при всей гнусности содержания, своим стилем заметно превосходил уровень прочих материалов. Вытянув руку с

⁴ Предшествующая бирманскому имени добавка «Ко» указывает некое старшинство или выражает достаточную степень уважения; употребляется в обращении к офицерам, чиновникам, старшим родственникам и т.п.

газетой (он страдал дальнорзоркостью), У По Кин сосредоточенно читал, рот его приоткрылся, демонстрируя массу великолепных мелких зубов, залитых алым соком бетеля.

– Редактора посадят на шесть месяцев, – заключил он.

– Ему нипочем. Только, говорит, в тюрьме и отдохнешь от кредиторов.

– Но неужели ваш писарь Хла Пи сам сочинил эту статью? Дельный парнишка! Зря болтают, что от правительственных школ никакого толка. Да, быть Хла Пи большим начальником!

– Вы думаете, сэр, статьи будет достаточно?

У По Кин молчал. Натужное пыхтение дало знать о его желании подняться. Немедленно скользнувший из-за шторы Ба Тайк и гость помогли ему встать. Колыхнувшись, уравновесив глыбу живота, словно грузчик корзину с рыбой, хозяин взмахом руки отослал слугу.

– Нет, – наконец ответил он Ба Сейну. – Ни в коей мере не достаточно. Но для начала годится. Слушайте.

У По Кин через перила сплюнул жвачку, заложил руки за спину и начал мелкими шажками, переваливая необъятные бедра, прохаживаться по веранде. Говорил он на жаргоне туземных служащих, уснащая английские обороты бирманскими словечками.

– Итак, повторим. Мы хотим свалить суперинтенданта Верасвами, доктора, что заведует тюрьмой. Хотим прижать его, замазать грязью и прихлопнуть. Дело довольно тонкое.

– Да, сэр.

– Риска не будет, если осторожно. Противник наш не писарь или надзиратель. У нашего противника высокий чин, а человек с высоким чином, пусть даже он индус, это не мелкий клерк. С тем как? Обвинение, пара дюжин свидетелей, увольнение и под арест. Здесь так просто не выйдет, здесь моя тактика – тихо-тихо, тихо-тихо. Без шума и, главное, без официальных разбирательств, где всегда есть какой-нибудь шанс оправдаться. И все-таки необходимо за три месяца вбить в головы европейцев, что Верасвами хуже всякого бандита. Чем его зацепить? Взятками не получится, он не берет. Тогда чем?

– Можно бы устроить тюремный бунт, – сказал Ба Сейн. – Доктор – начальник, ему придется отвечать.

– Слишком опасно! Сторожа начнут палить из ружей во всех и каждого, это мне ни к чему. Да и дороговато. И потом ясно же, какое преступление нужно изобличить – предательство, тайную пропаганду. Мы должны убедить белых в мятежных, антибританских кознях доктора. Это для них страшнее взяток; к туземным хапугам они привыкли. Вот хоть на миг заставь их заподозрить его в измене, и с ним покончено.

– А как докажешь? – возразил Ба Сейн. – Доктор ведь прямо обожает белых; всегда так сердится, если кто скажет против них. Разве ж они поверят?

– Бросьте, бросьте! – лениво отмахнулся У По Кин. – В таких случаях им плевать на аргументы. Насчет всяких там темнокожих сомнение для них уже есть доказательство. Ручеек анонимных писем сработает великолепно. Нужно лишь упорство: пиши донос, еще пиши, опять пиши – лучшее средство с европейцами. Письмишко за письмишком всем здешним белым, а едва шевельнется их подозрительность... – Выпростав из-за спины жирную руку, У По Кин щелкнул пальцами. – Наша статейка в «Сынах Бирмы» их разъярит. Отлично! Далее внушим им, что автор – доктор.

– Не очень-то внушишь, когда у него столько белых друзей. Они, как заболеют, сразу к нему. И мистеру Макгрегору он тоже флюс вылечил. Уважают они его.

– Ах, почтенный Ба Сейн, не знаете вы их натуру! Если они и ходят к Верасвами, так потому, что других лекарей здесь нет. Никакой европеец никакому азиату не доверяет. Проблема одна – анонимки в достаточном количестве. И не останется у доктора этих приятелей, я позабочусь.

– А мистер Флори, что торгует лесом? – выговаривал Ба Сейн «мистер Порли». – Он ему верный. Как живет в Кьяктаде, утром всегда заходит к доктору, я вижу. Он даже два раза звал доктора к себе в гости.

– О-о, тут вы правы. Тут серьезная помеха; до индийца не добраться, пока он в дружбе с белым. У индийца тогда этот – как его? словечко-то их любимое? – «престиж»! Но Флори быстренько покинет друга, лишь на того свалятся неприятности; люди его народа не хранят верности туземцам. Притом мне довелось узнать, что Флори трус. Его я беру на себя. А ваше дело, уважаемый Ба Сейн, следить и следить за Макгрегором. Писал он еще комиссару секретной почтой?

– Пару дней назад была депеша, мы ее распечатали над паром, но там ничего важного.

– Ну-ну, скоро подкинем кое-что важное. И как раз подоспеет другая штука, о которой я уже говорил вам. Сделаем, – как это Макгрегор шутит? – «собьем двух пташек одним камушком». Целую стаю пташек, кха-ха-ха!

Смех выразился мерзким харкающим клокотанием, однако прозвучал весело, даже по-детски невинно. О «другой штуке», слишком тайной для обсуждений на веранде, У По Кин говорить не стал. Видя, что беседа закончена, Ба Сейн встал и поклонился, как складной метр.

– Еще какие-нибудь пожелания, ваша честь?

– Присмотрите, чтобы газета непременно попала к Макгрегору. И скажите Хла Пи, пусть заболит, скажем, дизентерией, – сидит дома. Он мне понадобится анонимки сочинять. Пока все.

– Можно идти, сэр?

– Идите, храни вас небо, – рассеянно кивнул судья и снова вызвал слугу.

У По Кин попусту не тратил ни минуты. В быстром темпе разделался с остальными визитерами и выставил родившую деревенскую девчонку, которой хладнокровно заявил, что знать ее не знает. Тем временем настал час завтрака. Точнейшим образом соблюдавшее расписание брюхо свело острыми спазмами. У По Кин нервно закричал:

– Ба Тайк! Эй, ты! Кин-Кин! Еду мне! Есть хочу!

За шторой, в парадной гостиной, уже был накрыт стол: громадная миска риса и дюжина тарелок с карри, сушеными креветками, ломтями зеленых манго. Вперевалку добравшись до стола, У По Кин сел и, хрюкнув, накинулся на еду. Его жена Ма Кин – худенькая, лет сорока пяти, с кротким смугленьким обезьяньим личиком, – стояла сзади и прислуживала. Чавкающий супруг не обращал на нее никакого внимания. Зарывшись носом в гору риса, он пыхтел, пальцами жадно пихал в рот угощение. У По Кин поглощал пищу в таких чудовищных объемах, так алчно и страстно, что трапезы его скорее походили на оргии, рисово-каррийное распутство. Наевшись, он отдышался, сытно рыгнул разок-другой и велел жене принести зеленую бирманскую сигару: английского табака, по его мнению, безвкусного, он не признавал.

Затем, облачившись при помощи Ба Тайка в официальный наряд, судья полюбовался собой перед высоким зеркалом гостиной. Гостиная, с деревянными стенами и двумя подпирающими крышу колоннами (вернее, просто стволами тиковых деревьев), была, как все бирманские жилища, неряшливой и темной, хотя хозяин постарался обустроить ее «по англичанской моде», для чего украсил буфетом, стульями, печатными портретами британской королевской семьи и огнетушителем. Пол устлали циновки, густо заляпанные соком лимона и бетеля.

Ма Кин уселась с шитьем на полу, а У По Кин топтался перед зеркалом, пытаясь обозреть себя сзади. Его роскошный наряд составляли шелковый бледно-розовый гаунбаун⁵, крахмального муслина эйнджи⁶ и парчовый пасо⁷ с радужным оранжево-желтым переливом. Еле-

⁵ Гаунбаун – более парадный, чем обычный плотно повязанный платок, мужской головной убор, состоящий из косынки, накрученной на плотную шлемовидную шапочку-основу.

⁶ Эйнджи – верхняя одежда типа распахнутой рубашки или легкой куртки на кнопках.

еле повернув голову, судье удалось все-таки разглядеть блеск на своих туго обтянутых парчой огромных ягодицах. Тучностью У По Кин гордился как несомненным символом величия: нищий худышка сделался жирным, грозным богачом. В сознании у него даже возник некий почти поэтический образ: пышное его тело разбухало, вбирая плоть поверженных врагов.

– Мой новый пасо стоил двадцать две рупии, а, Кин-Кин? – улыбнулся он.

Согнутая в углу над шитьем Ма Кин была женщиной простой, старомодной, так и не освоившей неудобные европейские стулья. Каждое утро она сама ходила за провизией, неся корзину по-крестьянски на голове, а вечерами молилась где-нибудь в саду, встав на колени и обратив лицо к шпилью венчавшей город пагоды. Уже более двадцати лет ей поверялись все тайные козни супруга.

– Ко По Кин, – вздохнула она, – ты сделал в жизни много зла.

У По Кин отмахнулся:

– Ну и что? Пагоды построю, искуплю, еще успеется.

Ма Кин вновь опустила голову к шитью, с тем неуступчивым видом, каким обычно выражалось ее неодобрение.

– Но зачем опять что-то замышлять? Я слышала – у вас с Ба Сейном какие-то ловушки для индийского доктора. Чем он мешает вам? Он добрый человек.

– Что ты, женщина, понимаешь в серьезных делах? Верасвами мне поперек дороги. Во-первых, взятки не берет и этим всем нам вредит, а кроме того... Ладно, с твоим умишком не осилить.

– Ох, Ко По Кин, ты стал очень богатым, очень важным, но что хорошего тебе прибавилось? В бедности у нас было больше радости. Помнишь, когда ты служил простым надзирателем и мы купили свой первый дом? Как мы гордились новой плетеной мебелью и твоей авторучкой с золотым зажимом! А как почетно это было, когда молодой полисмен-англичанин зашел к нам, и сидел на лучшем нашем стуле, и выпил у нас за столом бутылку пива! Счастье не в деньгах, не в богатстве. И чего ж тебе еще?

– Чепуху мелешь, женщина! Займись кухней, шитьем, а государственные дела оставь тем, кто в них разбирается.

– Не знаю, не знаю, я твоя жена и всегда тебе повиновалась. Но все-таки не стоит медлить с заслугами перед небом. Старайся заслужить побольше небесной милости, Ко По Кин! Купи, например, живых рыб и выпусти обратно в реку – это ведь очень праведно. Или вот – приходившие утром за рисом монахи сказали, что в монастыре два новых служителя и им голодно. Не хочешь ли чего-нибудь послать для них? Я ничего не дала, чтобы этот добрый поступок оставить тебе.

У По Кин наконец оторвался от зеркала, краем уха поймав довольно разумный призыв. Он никогда не упускал случая ненакладно свершить благое дело, которое ему виделось чем-то вроде вложений под высокий процент. Каждая возвращенная в реку рыбка, каждая чашка риса монаху продвигали к блаженству нирваны. Что ж, случай подходящий! У По Кин велел отправить в монастырь корзину манго, принесенную деревенским старостой.

Затем он вышел и в сопровождении Ба Тайка, тащившего пачку бумаг, пустился в путь. Ступал он медленно, ровно и бережно неся свой огромный живот, держа над головой шелковый желтый зонтик. Парчовый пасо сверкал на солнце сахарной глазурью. Судья следовал в должность разбирать сегодняшние тяжбы.

⁷ Пасо (пасхоу) – парадная мужская юбка бирманцев.

2

В тот час, когда для судьи У По Кина началось деловое утро, «мистер Порли», лесоторговый агент и друг доктора Верасвами, направлялся из дома в клуб.

Это был жгучий брюнет с обильной жесткой шевелюрой, короткими усиками и от природы смугловатой, выжженной солнцем кожей. Довольно крепкий, не растолстевший и не облысевший, Флори выглядел не старше своих тридцати пяти лет. Правда, дряблая припухлость вокруг глаз и впалые, явно не бритые поутру щеки, несмотря на загар, обличали отсутствие здоровой бодрости. Одет он был в стандартный для этих мест костюм: белая рубашка, армейские чулки и шорты из плотного хаки, только вместо «топи» (тропического шлема) – круто сдвинутая набекрень, затенявшая пол-лица мятая войлочная панама. На запястье висел бамбуковый стек с плетью, возле ног резво бежала Фло – черный кокер-спаниель.

Все это, однако, виделось во вторую очередь. Первым в глаза бросалось кошмарное родимое пятно, которое неровным полумесяцем ползло по левой щеке от виска до рта. Слева лицо казалось устрашающе разбитым – сизое пятно темнело, как огромный кровоподтек. И Флори ни на миг не забывал о своей метке. Едва кто-нибудь появлялся вблизи, он начинал привычно маневрировать, стараясь встать боком, вывести из поля зрения свое уродство.

Жил Флори на вершине холма, за армейским плацем, у самого края джунглей. От плаца дорога круто шла вниз, по бурому выгоревшему склону редкими яркими пятнами белело полдюжины бунгало местных британцев. Все зыбилось, дрожало сквозь пелену знойного воздуха. На полпути с холма располагалось обнесенное белой каменной стеной английское кладбище, рядом притулилась миниатюрная, крытая жестью церковь. Неподалеку стоял Европейский клуб. Причем именно клуб – одноэтажный деревянный барак – являлся главным, центральным зданием города. В любом месте Британской Индии клуб европейцев – духовная цитадель верховной власти, блаженная нирвана, по которой тщетно томится вся чиновная и торговая туземная знать. Относительно Кьяктады подобное значение можно было смело удвоить, ибо особой гордостью здешнего клуба являлось то, что он, едва ли не единственный в Бирме, был наглухо закрыт для азиатов. Позади клуба, алмазно сверкая, катила могучие бурые воды Иравади, а за рекой тянулись просторы рисовых полей, очерченных у горизонта цепью чернеющих холмов.

Сам туземный город, со всем тюремно-юридическим ассортиментом, находился правее, почти целиком скрытый зеленой рощей фиговых деревьев; виднелся лишь торчащий над кронами золотым копьём шпиль пагоды. Типичный городок Верхней Бирмы, не особенно изменившийся со времен Марко Поло, Кьяктада могла бы продремать в средневековые еще много столетий, если бы не оказалась подходящим конечным пунктом железнодорожной ветки. В 1910-м правительство возвысило местечко до ранга окружного центра и очага прогресса, что выразилось учреждением судебно-полицейских контор с целой армией очень жирных, но вечно голодных слугителей закона, устройством школы, больницы и, разумеется, возведением очередной из тех внушительных, вместительных тюрем, которыми англичане застроили всю землю от Гибралтара до Гонконга. Сейчас городского населения насчитывалось около четырех тысяч, в том числе пара сотен индийцев, несколько десятков китайцев и семь человек европейцев. Имелось также два лица смешанных, евроазиатских, кровей – мистер Самуил, сын баптистского миссионера, и мистер Франциск, сын миссионера католического⁸. Ничего сколько-нибудь примечательного в городке не было, за исключением индийского аскета, что уже два-

⁸ В именах крещеных полукровок намеки на идейное соперничество религиозных миссий: ветхозаветное «Самуил» как знак протестантизма, признающего священной основой только Библию, и «Франциск» – имя, отражающее католический культ святых (в частности, основателя ордена францисканцев).

дцать лет проживал на дереве возле базара, спуская по утрам веревку с корзиной, куда ему клали еду.

Вышедшего за ворота Флори одолевала зевота; хмель от вчерашней пьянки еще не выветрился, яркий свет отзывался нытьем в печени. «Чертова дыра», – бормотал он, болезненно шурясь на открывающийся с холма вид. А поскольку никто, кроме собаки, его не слышал, он, спускаясь по раскаленной красной тропе, похлестывая стеклом иссохшую траву, стал на мотив псалма «Свят, свят, Ты, Единый, святостью великой» напевать «Черт, черт, чертовщиной до краев набитый». Было почти девять часов, с каждой минутой солнце пекло все яростней. Жара пульсирующим шумом отдавалась в висках, будто по голове ритмично били тяжелой подушкой. Возле клуба Флори замедлил шаг, раздумывая, зайти или проследовать дальше, к доктору Верасвами. Потом вспомнил, что день «почтовый», что должны прибыть английские газеты, и вдоль высокой сетчатой ограды теннисного корта, сплошь обросшей ползучей зеленью со звездами розовато-лиловых цветков, пошел в клуб.

Дорожку окаймлял чисто английский бордюр: флоксы и петунии, шорник и штокрозы. Еще не спаленные зноем цветы поражали размерами и роскошью; кустик петунии разросся чуть не в древесный куст. Но никаких лужаек, а вместо родного садового кустарника – буйство могучей местной флоры: вздымающие свои кроваво-красные зонты огромные золотые могары, плотно облепленный крупными желтоватыми цветками тропический жасмин, фиолетовые бугенвиллеи, алые гибискусы, пунцовые китайские розы, ядовито-зеленые кротоны, перистые листья тамаринда. Глаза слезились от яркой, дикой пестроты. Полуголый мали (садовник) шустрил с лейкой в этих цветочных джунглях, напоминая громадную птицу, пьющую нектар.

На ступеньках клуба стоял, засунув руки в карманы, белесый англичанин со слишком широко расставленными светлыми глазами и удивительно тощими икрами – суперинтендант окружной полиции мистер Вестфилд. Покачиваясь взад-вперед, топорща верхнюю губу и щекоча пшеничными усами нос, он откровенно скучал. Реакция на появление Флори ограничилась едва заметным кивком. Изъяснялся Вестфилд по-солдатски кратко, рубя фразы до минимальных порций. И хотя голос его всегда звучал глухо, мрачно, тон речей почти неизменно был шутилив.

– Привет, друг Флори. Адски жарит с утра?

– Полагаю, другого в эту пору ждать не приходится, – ответил Флори, слегка отворачиваясь, пряча свое пятно.

– Проклятие! Еще пару месяцев уж точно. Год назад до июля ни облачка. Чертово небо – синий таз эмалированный. А что, неплохо бы сейчас по Пикадилли?

– Газеты привезли?

– Все тут: и старина «Панч», и «Щеголь», и «Парижская жизнь». С тоски по родине интересуешься? Пошли-ка выпьем, пока лед есть. Дружище Лакерстин успел заправиться. Уже хорош.

Под угрюмый клич Вестфилда: «Веди на бой, Макдуф!»⁹ – они вошли внутрь. Обшитый тиковыми досками, пропахший битумной пропиткой клуб вмещал всего четыре комнаты. Одну занимала обреченная чахнуть в безлюдье «читальня» с пятью сотнями заплесневелых романов, другую загромождал ветхий замызганный бильярдный стол, довольно редко привлекавший игроков, ибо тучами налетающая, жужжавшая вокруг ламп мошкара беспрерывно валилась на сукно. Имелась еще комната для карточной игры и, наконец, салон, с веранды которого открывался вид на реку, хотя сейчас, ввиду палящего солнца, все проемы были завешены зелеными бамбуковыми циновками. Салон представлял собой неуютный зальчик, устланный кокосовыми половиками, обставленный плетеными стульями и столами с россыпью глянцевого иллюстрированных журналов, украшенный по стенам экзотикой «восточных картин» и вилками рогов

⁹ Реплика из трагедии Шекспира «Макбет».

здешних оленей-самбаров. Свисавшее с потолка опахало лениво пошевеливало столбы пыли в жарком воздухе.

В салоне отдыхали трое. Под опахалом, навалившись на стол, обхватив руками голову, стонал багровый, несколько одутловатый здоровяк лет сорока – страдающий с похмелья мистер Лакерстин, представитель лесоторговой фирмы. Перед доской для объявлений свирепо вперился в какой-то листок представитель другой подобной фирмы – мистер Эллис, тщедушный и нервный, с ежиком жестких волос над остренькой бледной физиономией. Офицер Максвелл, военный инспектор лесных угодий, растянулся в шезлонге, листая номер «Просторов»; виднелись только его мосластые ноги да кисти рук с широкими, заросшими густым пухом волос запястьями.

– Вот безобразник. – Вестфилд потрепал за плечо стонущего Лакерстина. – Пример юношеству, а? Помилуй, Господи, нас, грешных. И не захочешь – призадумаешься, что сам явишь в свои сорок.

Лакерстин буркнул нечто похожее на «бренди».

– Бедолага, – посочувствовал Вестфилд, – мученик беспробудной пьянки. Насквозь проспиртован. Вроде спавшего без mosquito-сетки полковника, про которого слуга объяснял: «Ночью хозяин сильно пьяный, чтобы mosquitos замечать, – утром mosquitos сильно пьяные, чтоб замечать хозяина». Эх ты, с вечера не просох, но дай еще. А ведь малютка племянница едет погостить к дяде. Нынче вечером прибывает, а, Лакерстин?

– Да хватит эту пьянь трясти! – не оборачиваясь, раздраженно бросил Эллис говорком лондонского кокни.

– В... ее, племянницу! Плесните бренди, Христа ради! – пробормотал Лакерстин.

– Хороший урок будет барышне? По семь деньков в неделю любоваться дядюшкой под столом? Эй, бармен! – сжалился Вестфилд. – Бренди для мистера Лакерстина!

Мускулистый бармен, пожилой темнокожий дравид¹⁰ с прозрачно-желтыми собачьими глазами, принес на медном подносе бренди. Флори и Вестфилд заказали джин. Лакерстин, залпом осушив стакан, откинулся на стуле и слегка умерил свои стенания. Под стать простецкому мясистому лицу со щеточкой усов, он был действительно малым простым, претендовавшим лишь на то, что называлось у него «чутко гульнуть». Супруга управляла им единственно возможным способом: не оставляла без надзора более чем на пару часов. Только раз, через год после свадьбы, она оставила его на пару недель и, вернувшись чуть раньше срока, нашла благоверного в обществе трех юных нагих бирманок: две с обеих сторон поддерживали кавалера, а третья влиwała виски ему в рот. С тех пор, жаловался Лакерстин, жена стерегла его, «как чертова кошка чертову мышь». Впрочем, он все же ухитрялся «гульнуть» – недолго, зато и нередко.

– Дьявол! Что у меня сегодня с головой? – поморщился Лакерстин. – Кликни бармена, Вестфилд, надо еще принять, пока супруга не нагрязнула. Грозит урезать мою норму до четырех стаканчиков, когда племянница придет, провались они обе!

– Кончайте дурака валять, эй, всех касается! – сердито крикнул Эллис, вечно кого-нибудь коловший и цеплявший, язвительности ради напивавший на свое лондонское просторечие. – Видали, чё нам тут Макгрегор предписал? Поднес сюрпризик! Максвелл, тебе говорю, очнись и слушай!

Максвелл опустил газету и оказался свежим розовощеким блондином лет двадцати пяти (возраст весьма ранний для занимаемой им должности), чьи крупные конечности и густые белые ресницы вызвали в памяти жеребенка ломовой коняги.

¹⁰ Дравид – представитель древнейшей индийской (видимо, доарийской) этнической группы народов, населяющих главным образом Южную Индию.

Ловким злобным рывком отцепив с доски листок, Эллис начал громко читать послание мистера Макгрегора, совмещавшего пост главы местной администрации с обязанностями председателя клуба:

– Нет, вы только послушайте: «Ввиду того, что на данный момент состав клуба не включает лиц азиатского происхождения, и, принимая во внимание официально утвержденный регламент, согласно которому в европейских клубах допускается прием членов из числа как уроженцев Запада, так и жителей Востока, возникает необходимость рассмотреть пути возможной подобной практики в Кьяктаде. Вопрос будет предложен для обсуждения на ближайшем общем собрании. С одной стороны, здесь может быть указано...» Ну, хватит этого занудства, строчки не напишет без приступа словесного поноса. Ясно – хочет порушить наши правила и протащить сюда негритоса. Какого-нибудь уважаемого доктора Верасвами-Вшивотами. Вот бы *уважил*-то? Рассядется тут черномазый и будет в нос тебе чесноком вонять. Черт, не могу! Нам надо стеной встать, едино – всей командой придавить эту заразу. Что скажешь, Вестфилд? Флори?

Раскуривая черно-зеленую, едко дымящую бирманскую черуту, Вестфилд философски пожал плечами:

– Думаю, никуда не деться. Теперь по всем клубам полно туземных задниц. Говорят, даже в клубе Пегу¹¹. Страна, видишь ли, на пути прогресса. Мы вроде бы последние, кто держится.

– Мы, именно! И будем, будем, разрази меня, держаться. Да я скорей в канаве сдохну, чем пушу сюда негритоса! – стукнул Эллис карандашом по доске. С гримасой той занятой ярости, что у части людей нередко сопровождает действия самые пустячные, он снова прицепил листок и мелко, аккуратно, на манер официального титула, приписал возле подписи мистера Макгрегора «сэр П меня в Ж». Вот что я думаю насчет его идейки. Так прямо и заявлю ему, когда он явится. А *ты* что скажешь, Флори?

Флори пока не проронил ни слова. Будучи вообще любителем поговорить, он в клубных разговорах почти не принимал участия и сейчас читал статью Гилберта Честертона в «Лондонских новостях», левой рукой глядя положившую голову ему на колени Фло. Эллис, однако, был из породы неотвязных спорщиков, требующих неременной покорности своему мнению. Он повторил вопрос, Флори поднял глаза, их взгляды встретились. Тут же у Эллиса от гнева побелели ноздри и кожа вокруг носа стала пепельной. Внезапно он разразился бешеной руганью, которая могла бы ошеломить, если бы в клубе не привыкли к ежедневным подобным взрывам.

– Будь оно проклято! А я-то думал, что, когда надо отстоять единственное место, где со своими посидишь, отдохнешь от вонючих черных свиней, у тебя приличия хватит поддержать меня. Хоть даже этот вшивый доктор, педик черномазый, тебе дружок. Мне наплевать, что ты приятелей с помойки подбираешь. Нравится шлаться к Верасвами, выпивать с ихней братией – валяй! Когда не в клубе, так твори что хочешь. Но, клянусь Богом, если кой-кому охота сюда черных – не выйдет. Сдается мне, ты бы не прочь втащить в клуб этого своего Верасвами? Чтоб он тут в наши разговоры лез, руки нам жал поганой потной лапой и чесноком вонял. Ей-богу, если эта харя только в дверь сунется, вышибу пинком под зад! Мразь черная... толстобрюхий!.. – и т.п.

Монолог длился несколько минут. Звучало это любопытно, ибо говорилось от всего сердца. Эллис искренне ненавидел восточных людей, ненавидел с острым физическим отвращением, будто какую-то вредную нечисть. Годами живя среди бирманцев, он так и не привык к их смуглым лицам; любая тень симпатии к туземцам виделась ему жутким извращением. Он был неглупым человеком и дельным служащим, но из тех – к сожалению, типичных – англичан, коим ни при каких условиях не стоило бы позволять даже приближаться к Востоку.

¹¹ Пегу – город, административный центр в Нижней Бирме.

Флори поглаживал собачий загривок, не в силах поднять глаза на Эллиса. Отметина и в лучшие минуты мешала ему прямо смотреть на собеседника. И он уже заранее чувствовал дрожь в своем голосе, всегда дрожавшем именно тогда, когда так требовалась твердость. К тому же лицо у него подчас непроизвольно дергалось.

– Уймись, – негромко и угрюмо проговорил наконец Флори. – Нечего кипятиться. Я *никогда* не предлагал принимать в клуб туземцев.

– Да ну? Чертовски хорошо известно, что ты б не прочь. Чего ж тогда каждое утро таскаться к жирному индюшке? Сидеть с ним за столом, как с белым, пить из стакана, облизанного его черными сальными губами – тьфу, прямо рвет меня!

– Сядь, сядь, старик, не горячись, – вмешался Вестфилд. – Выпей-ка лучше. Плоховат часок для ругани – жарю.

– Ей-богу, – чуть спокойнее бросил Эллис и прошелся туда-сюда. – Ей-богу, парни, я не понимаю. Просто не понимаю! Олуху Макгрегору, вишь ли, приспичило, неведомо с чего, взять к нам в клуб черномазого, а вы сидите и ни гугу. Господи Боже, на черта же мы в этой стране? Если не хотим быть хозяевами, что ж тогда вовсе отсюда не убраться? Нам здесь положено управлять стадом этих чертовых черных свиней, отроду рабских тварей, но вместо четкого, единственно понятного для их мозгов правления вдруг подавай равенство с этой швалью. И вам, тупым задницам, будто так и надо! У Флори, вон, в лучших друзьях индус чумазый, который доктором себя величает, поскольку пару лет ходил в какой-то там Индийский университет. А ты, Вестфилд, все вот паясничаете да гордились сворой своих продажных полицейских шавок. А тебе, Максвелл, только бы за шлюхами-полукровками бегать.

Да-да, слышал я про твои шашни в Мандалае с одной сучкой по имени Молли Перейра. Небось женился бы на ней, когда б тебя сюда, подальше, не перевели? Такое впечатление, что вы *души не чаете* в черных скотах. Ну что ж тут, черт возьми, со всеми нами происходит? Нет, ей-богу, не знаю я!

– Иди, прими стаканчик, – позвал Вестфилд. – Эй, бармен! Пивка, что ли, пока лед есть? Эй, пиво нам!

Бармен принес мюнхенского пива. Эллис уселся за общий стол, перекатывая в горячих ладонках одну из запотевших бутылок. Лоб его еще был в испарине, он еще хмурился, но гнев уже остыл. Хотя злость и упрямство его не покидали, вспышки бешенства длились недолго, завершаясь без каких-либо извинений. Перебранки входили в рутинный клубный распорядок. Мистер Лакерстин, взбодрившись, изучал иллюстрации «Парижской жизни». Пропитанный едким дымом черуты воздух после девяти заметно накалился. Рубашки у всех взмокли от первого в этот день пота и липли к спинам. Сидевший снаружи, качавший за веревку опахало чокра (прислужник) явно заснул на солнцепеке.

– Бармен! – крикнул Эллис и, когда тот явился, приказал: – Живо пойдя растолкай дражного чокру!

– Да, хозяин.

– Стой!

– Да, хозяин?

– Сколько осталось льда?

– Около двадцати фунтов, хозяин, но хватит, наверно, только на сегодня. Теперь, видимо, будет трудно сохранять лед.

– Не смей, черт подери, так выражаться – «видимо, будет трудно»! Учебник вызубрил? Ты должен говорить: «Прощения, хозяин, лед теперь долго не можно». Придется турнуть малого, если он станет чересчур бойко по-английски растабаривать. Не выношу слуг-грамотеев. Ну, ты понял?

– Да, хозяин, – ответил бармен и ушел.

– Боже! До понедельника без льда! – вздохнул Вестфилд. – Обратно в джунгли едешь, Флори?

– Мне и сейчас там надо быть. Заехал только за почтой.

– И я, пожалуй, куда-нибудь отправлюсь. Командировку выправлю, паек. Тошнит в жару от канцелярии. Парься там под проклятым опахалом, строчи, подписывай. Осточертела жвачка бумажная. Хоть бы снова война.

– Уеду послезавтра, – сказал Эллис. – В это воскресенье, что ли, чертов падре¹² прибудет? Нет уж, надо сбежать пораньше. Пусть прихожане без меня гундосят.

– В следующее воскресенье, – поправил Вестфилд. – Я-то обязался присутствовать. Как и Макгрегор. Которжная, должен заметить, работенка у его преподобия: один на всю округу, к нам может добраться раз в полтора месяца. Могла бы и паства быть поотзывчивей.

– Да не про то! Я бы поблеял псалмы из уважения к падре, но прямо видеть не могу, как туземная сволочь прет в нашу церковь. Шайка прислужников мадрашек¹³, училишек-карен-нов¹⁴ да еще двое этих желтопуzych, Самуил с Франциском, – тоже, вишь, они христиане. На последней службе имели наглость вперед пролезть, усесться возле белых. Надо уже с падре поговорить. Что мы за идиоты – дали волю всяким миссионерам! Пускай, вот, учат чернома-zych метлой махать по-нашему. А то – «сэр, и моя есть христианин». Дьявольское нахальство!

– Что это тут о паре ножек? – подал голос мистер Лакерстин, протягивая через стол номер «Парижской жизни». – Флори, ты по-французски мастер, на что намекают? Черт, помню я свой первый отпуск, когда, холостяком еще, в Париж съездил. Эх, снова бы!

– А слышали вы «Девушка из города Вокинга»? – вмешался Максвелл, юноша довольно роб-кий, но, как все его сверстники, обожавший непристойные стишки. Максвелл изложил крат-кую биографию барышни из Вокинга, раздался смех. В ответ Вестфилд поведал про покину-тую ухажером «Бедняжку, живущую в Илинге», а Флори – про то, как «Викарий безусый из Хорсхема» ненароком кого-то уколошил. Хохот усилился. Даже Эллис, смягчившись, прочел несколько стихотворных анекдотов (кстати, шуточки Эллиса, донельзя сальные, всегда были действительно смешны). Несмотря на жару, все оживились, атмосфера стала более приятной. Кончив с пивом, собрались было заказать новую выпивку, как за стеной послышался скрип шагов, раздался жизнерадостно рокошующий, гулко отзвывавшийся в дощатых стенах баритон:

– М-да, в самом деле, презабавно! Я, знаете ли, этот эпизод включил в один из моих очерков для «Блэквуда»¹⁵. Помню также, когда наш полк стоял в Проме, был эпизод, о-о, чрез-вычайно комичный случай!..

Стало очевидным прибытие председателя клуба. Лакерстин охнул: «Черт, жена...» – и поспешно отодвинул стакан. В салон вошли мистер Макгрегор и миссис Лакерстин.

Мистер Макгрегор являл собой дородного господина весьма за сорок, с физиономией добродушного мопса в золотых очках. Манера выставлять голову из массивных сутулых плеч заслужила ему у местных жителей прозвище Черепеха. На его светлом шелковом костюме ниже подмышек уже выступили пятна пота. Шутливо отсалютовав, сияющий мистер Макгрегор остановился перед доской объявлений, слегка наклонясь и поигрывая за спиной тростью на манер воспитателя школяров. При безусловном дружеском расположении, от мистера Макгрегора веяло столь настойчивой сердечностью, столь упорным приглашением вне службы забыть о его высоком ранге, что расслабиться рядом с ним не удавалось. Стиль его речей явно вос-производил острословие некоего впечатлившего в ранней юности учителя или священника. Обильно употребляемые старинные обороты, цитаты, поговорки, которые он полагал забав-

¹² Несмотря на то что «падре» обычно подразумевает католического священника, речь тут, у англичан Британской Индии, идет о представителе официальной англиканской церкви.

¹³ Имеются в виду живущие в индийском штате Мадрас, ныне Тамилнад, тамилы – этнос дравидийской группы.

¹⁴ Карены – второй по численности (после основной бирманской народности мянма) коренной народ Бирмы.

¹⁵ «Блэквуд» – издававшийся в Эдинбурге литературно-публицистический журнал крайне консервативного направления.

ными, непременно предварялись разнообразным тягучим мычанием, возвещавшим юмористичность.

Миссис Лакерстин, дама под тридцать пять, была по-своему даже красива, отличаясь модным изяществом уплощенно-удлиненного фасона. Разговаривала она томно и брюзгливо. При ее появлении все встали. Миссис Лакерстин опустилась на лучшее место, под опахалом, утомленно обмахивая лицо узкой рукой, напоминавшей лапку тритона.

– О, дорогой, эта жара, о Боже! Мистер Макгрегор был необычайно любезен, предложив довезти меня в своем автомобиле. Представь, дорогой, наш негодяй рикша опять притворился больным. Не пора ли тебе задать ему хорошенькую трепку? Это кошмар – ходить пешком под этим солнцем.

Не в силах на ногах одолевать четверть мили от дома до клуба, миссис Лакерстин выписала себе рикшу из Рангуна (кроме деревенских воловых упряжек и автомобиля представителя комиссара, единственный в городишке колесный экипаж). Сопровождая ненадежного Лакерстина в джунгли, супруга его стойко переносила все ужасы дырявых палаток, москитов и консервов, что с лихвой восполнялось капризной хрупкостью в городской штаб-квартире.

– Нет, в самом деле, слуги безобразно разленились, – вздохнула леди. – Не правда ли, мистер Макгрегор? Во времена этих жутких реформ и развязных газетчиков у нас здесь, кажется, уже не осталось никакой *власти*. Аборигены начинают дерзить почти так же, как наши низшие классы в Англии.

– Надеюсь, все же не до такой степени. Однако демократический душок, несомненно, распространяется, доползая даже сюда.

– А ведь совсем недавно, до войны, аборигены были так почтительны, так *мило* кланялись с обочины – о, просто прелесть. Мы нашему дворецкому, я помню, платили всего двенадцать рупий в месяц, и он служил, как верный пес. А теперь слуги требуют и сорок, и пятьдесят, и я могу *дисциплинировать* их только задержкой жалованья.

– Прежний тип слуги исчезает, – согласился мистер Макгрегор. – В дни моей юности лакея за непочтительность отсылали в участок с запиской: «Предъявителю сего пятнадцать ударов плетью». Что ж, как говорят французы, *ehou fugaces* – ах, мимолетность! Увы-увы, былого не вернуть.

– Точно замечено, – с обычной мрачностью подтвердил Вестфилд. – Не та уже страна, и ждать тут нечего. Финиш, по-моему, Британской Индии. Проиграно. Пора очистить территорию.

По салону прошелестел дружный вздох, вздохнул даже Флори, печально известный склонностью к большевизму, и даже молодой Максвелл, живший в Бирме меньше трех лет. Любой британец знает и всегда знал, что Индия катится к черту, – ведь Индия, как старый добрый «Панч», и не была никогда тем, чем была.

Нетерпеливый Эллис, вновь отцепив листок с доски и протянув его Макгрегору, сердито заговорил:

– Вот что, Макгрегор, прочли мы записку насчет туземца в клубе и считаем это сплошным... – Эллис хотел сказать «дерь-мом», но, вспомнив о присутствии миссис Лакерстин, сдержался, – сплошным вздором. В конце концов, мы в клуб приходим приятно время провести, и не хотим мы, чтоб туземцы тут шныряли. Нужно ж хоть где-нибудь передохнуть от них. Все остальные совершенно со мной согласны.

Эллис обвел взглядом сидевших.

– Верно, верно! – хрипло выкрикнул Лакерстин, в надежде своим энтузиазмом заслужить снисхождение супруги, уже увидевшей, конечно, что он напился.

С улыбкой взяв объявление, мистер Макгрегор прочел дополнявшую его подпись карандашную приписку «сэр П меня в Ж», внутренне поморщился от чрезвычайной вульгарности

Эллиса, однако лишь добродушно усмехнулся. Держаться в клубе веселым славным товарищем стоило не меньше усилий, нежели соблюдение должной дистанции на службе.

– Надо полагать, наш друг Эллис не слишком жаждет общества... м-м... арийского брата?

– Не, не жажду, – отрезал Эллис. – Как и мой дорогой туземный брат. Честно скажу – не люблю негритосов.

На последнем слове, звучащем в корректной Британской Индии кошуном, мистер Макгрегор слегка напрягся. Сам он был абсолютно лишен предрассудков относительно жителей Востока, более того, питал к ним глубочайшую симпатию. Усмиренных аборигенов он находил прелестнейшими существами и всегда с болью воспринимал беспричинные выпады в их адрес.

– Достоин ли, – холодно произнес он, – именовать этих людей негритосами, употребляя термин сколь оскорбительный, столь и неверный относительно их истинной расовой принадлежности? Коренное население Бирмы состоит из племен монголоидной расы, тогда как обитатели Индии – это арийцы или же дравиды, и все эти народы весьма отличны от...

– Да пошли они! – перебил Эллис, отнюдь не благоговевший перед рангом представителя комиссара. – Зовите их негритосами или арийцами, мне без разницы. Я говорю, черных мы в клуб не пустим. Ставьте на голосование, увидите – все против. Разве что Флори будет за дорогого друга Верасвами.

– Верно, верно! – вновь крикнул Лакерстин. – От меня черный шар, я против, засчитайте!

Мистер Макгрегор досадливо поджал губы. Он оказался в затруднительном положении, ибо идея ввести туземного члена клуба возникла не у него, а была спущена ему сверху. Тем не менее, полагая дурным тоном оправдываться, он мягко, миролюбиво молвил:

– Не отложить ли обсуждение этой темы до следующей встречи? Дадим созреть и отстояться нашим мнениям. А сейчас, – подходя к столу, добавил он, – кто готов разделить со мной некое... э-э... освежающее возлияние?

«Возлияние» немедленно заказали. Уже вовсю пекло, и всех томила жажда. Только Лакерстин, воспрянувший, но под пристальным взглядом супруги сникший и буркнувший бармену «не надо», сидел, сложа руки на коленях, трагически наблюдая, как миссис Лакерстин опустошает свой бокал лимонада с джином. Призвавший к выпивке и подписавший счет за нее мистер Макгрегор сам, однако, предпочел чистый лимонад; единственный из здешних европейцев, он строго воздерживался от алкоголя до захода солнца.

– Все это здорово, – ворчал Эллис, поставив локти на стол и нервно крутя свой стакан (спор с Макгрегором снова разгорячил его). – Все это здорово, но у меня что сказано, то сказано. Сюда туземцам хода нет! Вот такими уступочками мы и подкосили Империю. Цацкались, цацкались с туземцами и только рушили страну. С ними одна политика – как с грязью. Момент критический, надо зубами и когтями драться за свой престиж, плечом к плечу стать и сказать: «Мы здесь хозяева, а вы тут шваль!» – Эллис прижал к столу большой палец и энергично повертел им, словно давя червя. – И ты, шваль, знай-ка свое место!

– Безнадега, старик, – сказал Вестфилд. – Полная безнадега. Что сделаешь, когда параграф руки вяжет? Туземная рвань законы знает лучше нас. Хамят прямо в лицо, а врежешь им – вмиг подадут на тебя заявление. Твердость нужна, но как ее проявишь, если открыто воевать у них кишка тонка?

– Наш бура-сахиб в Мандалае, – вступила миссис Лакерстин, – всегда говорил, что в конце концов мы просто *покинем* Индию. Молодежь больше не захочет здесь трудиться, чтобы получать в награду лишь грубость и неблагодарность. Мы просто-напросто *уйдем*. А вот когда аборигены попросят нас остаться, мы скажем: «Нет! Вам дали шанс, но вы его отвергли. Так что прощайте, управляйте страной сами!» Хороший будет им урок!

– Права! Параграфы! – угрюмо отозвался Вестфилд, сосредоточенный на теме губительной законности. Причину развала Империи он видел в непомерно широких правах жителей, а

надежду усматривал только в большом туземном бунте, который вынудит ввести режим военного положения. – Жвачка бумажная, писари-индусы всем заправляют. Кончен номер. Одно – прикрыть лавочку и оставить местных вариться в собственном соку.

– Ни черта, ни черта подобного, – заволновался Эллис. – Решимся, так за месяц все выправим. Только быть малость похрабрее. Вон, в Амритсаре-то? Как они вмиг хвосты поджали? Дайер знал, чем их шугануть. Эх, старина Дайер! Подло с ним обошлись. Этим трусам в Англии еще придется за многое ответить.

Тирада Эллиса исторгла у аудитории вздох горестного сожаления, подобно вздохам католиков о незабвенной Марии Кровавой¹⁶. Даже мистер Макгрегор, противник чрезвычайных мер и кровопролития, услышав имя Дайера, меланхолично покачал головой:

– Да-да, бедняга! Принесен в жертву столичным политикам. Ну что ж, возможно, со временем, с прискорбным опозданием, они поймут свою ошибку.

– Насчет этого, – хмыкнул Вестфилд, – у моего прежнего начальника была славная байка. Служил в туземном полку один старый сержант. Как-то его спросили, что будет, если британцы уйдут из Индии. Старикан, почесав затылок, говорит...

Флори отодвинул стул и встал. Невыносимо, нет! Срочно уйти, иначе под черепом что-то взорвется, и он начнет крушить мебель, швырять бутылки. Безмозглые, отупевшие от пьянства свиньи! Как удастся ежедневно, годами напролет и слово в слово молоть все ту же отвратительную чушь, мусоля тухлый бред со страниц «Блэквуда»? Неужели никто здесь не способен хотя бы захотеть сказать что-нибудь новенькое? Что же за место, что за люди! Что за культура – дикая, стоящая на виски, кислом шипении и восточной экзотике по стенам! Господи, пощади нас, ибо все мы в этом замешаны!

Ничего этого Флори, разумеется, не сказал и постарался не выдать себя выражением лица. Держась за спинку стула, он стоял чуть боком, со слабой, неуверенной улыбкой отнюдь не первого любимца общества.

– К сожалению, мне пора, – сказал он. – Дел по горло, нужно еще кое-что просмотреть перед завтраком.

– Постой, брат, опрокинь еще стаканчик, – махнул рукой Вестфилд. – Заря лишь заблистала. Возьми-ка джин, для аппетита.

– Спасибо, надо бежать. Пошли, Фло. До свидания, миссис Лакерстин, всем до свидания!

– Прямо-таки Букер Вашингтон, друг черномазых, – съязвил Эллис, едва за Флори захлопнулась дверь (каждый, кто выходил, мог быть уверен, что Эллис бросит ему вслед какую-нибудь гадость). – Потопал, видно, к своему Вшивотам. Или слинял, чтоб долю за выпивку не вносить.

– Брось ты, он малый неплохой, – возразил Вестфилд. – Выступит иногда как большевик, но это он так, не всерьез.

– О да, славный парень, очень славный, – любезно подтвердил мистер Макгрегор.

Всякий европеец в Британской Индии по статусу, точнее, по цвету кожи, «славный парень» и неизменно, если уж не выкинет чего-то вовсе непотребного, состоит в этом почетном звании.

– А по мне, от него *уж слишком* большевичком несет, – стоял на своем Эллис. – Воротит меня от парней, что в дружбе с черными. Не удивлюсь, коли и сам он дегтем разбавлен, не зря по щеке будто смолой мазанули. Пегая морда! И похож на желтопузых – чернявый и кожа как лимон.

Возникла некая бессвязная перепалка из-за Флори, но быстро утихла, ибо мистер Макгрегор ссор не любил. Европейцы продолжили клубный отдых, заказав еще по стаканчику.

¹⁶ Мария I Тюдор – английская королева, на время своего правления (1553—1558) восстановившая католицизм и получившая прозвище Марии Кровавой за жестокие преследования сторонников Реформации.

Мистер Макгрегор рассказал очередной забавный случай на полковой стоянке – из числа анекдотов, звучащих уместно почти во всякой ситуации. Затем разговор вернулся к старым, но не тускнеющим сюжетам: дерзость туземцев, вялость центра, канувшие золотые дни, когда власть британцев поистине являлась властью и лакей за провинность получал «пятнадцать ударов плетью». Эта тематика, отчасти благодаря маниакальной злости Эллиса, прокручивалась регулярно. Впрочем, избыток горечи у европейцев был объясним. Жизнь на Востоке ожесточит и святого. Здесь всем белым, особенно официальным служащим, приходится узнать вкус постоянных издевательских насмешек и оскорблений. Чуть ли не ежедневно, когда Вестфилд, мистер Макгрегор или даже Максвелл проходили по улице, мальчишки-школьники с юными желтыми физиономиями – гладкими, как золотые монеты, и полными столь свойственного монголоидным лицам надменного, доводящего до бешенства презрения, – глумились над чужаками, порой раздражаясь гнусным, хищным хохотом. Служба в Британской Индии не сахар. В первобытной примитивности солдатских лагерей, в духоте контор, в пропахших антисептиком унылых станционных гостиницах люди, пожалуй, зарабатывают себе право на несколько раздражительный характер.

Стрелки часов приближались к десяти, и жара сделалась нестерпимой. Лица и голые до локтей руки мужчин покрылись бисером пота. На спине мистера Макгрегора по шелку пиджака все шире расплывалось темное влажное пятно. От ярких лучей, все-таки проникавших сквозь бамбуковые шторы, болели глаза и стучало в висках. С тоской думалось о предстоящем плотном завтраке и ожидающих затем убийственно долгих дневных часах. Поправив сползавшие на потной переносице очки, мистер Макгрегор поднялся.

– Увы, приходится прервать наш легкомысленный симпозиум. Я к завтраку должен быть дома. Дела Империи, так сказать, призывают. Кому-нибудь по пути? И мой автомобиль, и мой шофер к вашим услугам.

– О, благодарю, – откликнулась миссис Лакерстин. – Если можно, подвезите нас с Томом. Какое облегчение, что не надо идти пешком по этому жуткому пеклу!

Все встали. Вестфилд потянулся и, подавляя зевок, шумно втянул носом воздух.

– Двинулись? Надо идти – засыпаю. Ох, целый день корпеть в конторе! Известно вороха бумаги! Боже!

– Эй, не забудьте, теннис вечером, – напомнил Эллис. – Максвелл, черт ленивый, не вздумай опять смыться. Чтобы ровно в полпятого сюда с ракеткой.

– *Après vous* – после вас, мадам, – галантно шаркнул в дверях мистер Макгрегор.

– Веди на бой, Макдуф! – пробасил, выходя, Вестфилд.

Навстречу хлынула сверкающая белизна. От земли катил жар, как из духовки. Ни один лепесток не шевелился в пестрой гуще свирепо полыхающих под бешеным солнцем цветов. Свет изнурял, пронизывая тело до костей. Веяло какой-то жутью – жутковато было сознавать, что это глянцево-голубое, безоблачное, бесконечное, тянется над Бирмой, Индией, Сиамом, над Камбоджей, над Китаем, всюду слепя одинаково яркой, ровной лазурью. Наружные части автомобиля мистера Макгрегора раскались – не дотронуться. Начиналось то беспощадное время дня, когда, по выражению бирманцев, «нога тихая». Все живое оцепенело; способность двигаться сохранили только люди, колонны разогретых солнцем струящихся через дорожку муравьев и силуэты медленно парящих в знойном небе бесхвостых грифов.

3

За воротами клуба Флори свернул налево и пошел вниз по тенистой тропе под кронами фиговых деревьев. Через сотню ярдов загудела музыка – возвращался в казармы отряд военной полиции, строй одетых в хаки долговязых индусов с идущим впереди, играющим на волынке юным гуркхом¹⁷. Флори шел навестить доктора Верасвами. Жилище доктора – длинное бунгало из пропитанных мазутом бревен – стояло на сваях в глубине обширного запущенного сада, граничившего с садом Европейского клуба. Фасад был обращен не к дороге, а к стоящей на берегу реки больнице. Едва Флори открыл калитку, в доме раздался тревожный женский крик, застучала суетливая беготня. Явно не стоило смущать хозяйку. Флори обошел бунгало и, остановившись у веранды, позвал:

– Доктор! Вы не заняты? Войти можно?

Черно-белая фигурка выскочила на веранду, как черт из табакерки. Доктор подбежал к перилам, бурно восклицая:

– Можно ли вам войти? Конессно! И немедленно! Ахх, мистер Флори, как я рад! Быстрее поднимайтесь! Что вы будете пить? Есть виски, вермут, пиво и другие европейские напитки. Ахх, дорогой друг, как я стосковался по приятной и тонкой беседе!

Темнокожий курчавый толстячок с доверчивыми круглыми глазами, доктор носил очки в стальной оправе и был одет в мешковатый полотняный костюм; мятые белые брюки гармошкой свисали на грубые черные башмаки. Говорил он торопливо, возбужденно и подчас слегка шепеляво. Пока Флори поднимался, доктор засеменил в дальний угол и начал хлопотливо вытаскивать из набитого льдом цинкового ящика бутылки всевозможного питья. Благодаря развешенным под карнизом корзинам с папоротником веранда напоминала сумрачный грот позади солнечного водопада. Кроме тростниковых, изготовлявшихся в тюрьме шезлонгов, здесь еще стоял книжный шкаф, полный не слишком увлекательной литературы – главным образом, эссеистика в духе Карлейля, Эмерсона, Стивенсона. Доктор, большой любитель чтения, особенно ценил в книгах то, что именовалось у него «нравственным смыслом».

– Ну, доктор, – сказал Флори (хозяин тем временем усадил его в шезлонг, обеспечив комфортную близость пива и сигарет). – Ну, доктор, как там наша старушенция Империя? По-прежнему плоха?

– Ой, мистер Флори, все хуже и хуже! Опасные осложнения, ахха. Заражение крови, перитонит, паралич центральной нервной системы. Ой, боюсь, нужно звать специалистов!

Шутка насчет дряхлой пациентки – Британской империи обыгрывалась уже второй год, но доктор не устал ею наслаждаться.

– Эх, – вздохнул Флори, растягиваясь в шезлонге, – хорошо тут у вас. Сбегаю к вам, как пуританский староста в кабак со шлюхами. Хоть отдохнуть от *них*, – пренебрежительно мотнул он головой в сторону клуба, – милых моих приятелей, благородных белых пакка-сахибов¹⁸, рыцарей без страха и упрека, ну, да вы знаете! Просто счастье – глотнуть воздуха после всей этой вонищи.

– Друг мой, друг мой, пожалуйста, не надо! Это звучит нехорошо. Не надо так говорить о достойных английских джентльменах.

– Вам, доктор, не приходится часами слушать достойных джентльменов. Я все утро терпел Эллиса с его «негритосами», Вестфилда с его фиглярством, Макгрегора с его латинскими

¹⁷ Гуркхи – основной непальский этнос. Англичане так называли всех вербовавшихся в Непале наемников; специальные отряды гуркхов представляли собой некий аналог российской «Дикой дивизии».

¹⁸ Пакка – буквально «созревший», «сваренный», в переносном смысле – «правильный», «настоящий»; пакка-сахиб – благородный господин (*англо-инд.*).

цитатами и грустью о старинной порке на конюшне. Но уж как дошло до туземного сержанта, старого честного служаки, сказавшего, что в Индии без британцев «не останется ни рупий, ни девственниц», – баста, не вынес! Пора старому служаке на покой, со времен первого юбилея¹⁹ мелет одно и то же.

Как всегда при нападках Флори на членов клуба, толстяк доктор волновался, ерзая, переминаясь, нервно жестикулируя. Подыскивая нужное возражение, он всегда словно пытался его поймать, ухватить в воздухе щепоткой смуглых пальцев:

– Пожалуйсьта, мистер Флори! Прошу, не говорите так. Зачем всех называть пакк-сахибами? Народ героев, соль земли. Вы посмотрите на деяния строителей Империи, вспомните Роберта Клайва, Уоррена Гастингса, Джеймса Дальхузи, Джорджа Керзона – великие личности! Словами вашего бессмертного Шекспира, «то были люди в полном смысле слова, подобных им нам больше не видать»²⁰.

– Так, а вам хочется еще подобных? Мне нет.

– И как прекрасен сам тип – английский джентльмен! Изумительная терпимость! Традиция единства и сплоченности! Даже те, чьи высокомерные манеры не очень приятны (у некоторых англичан порой действительно замечен этот недостаток), намного достойнее нас, людей Востока. Стиль поведения грубоватый, но сердца золотые.

– Может, позолоченные? Прикидываться братьями в этой стране и вечно изображать из себя дружных английских парней, то бишь дружно выпивать, симпатизируя землякам-собутыльникам не больше скорпионов. Нашу сплоченность диктует политический расчет, а выпивка – главная смазка механизма, без нее мы через неделю взбесились бы и перебили бы друг друга. Отличный сюжет для ваших утонченных моралистов – пьянка как фундамент Империи.

Доктор покачал головой.

– Не знаю, мистер Флори, откуда у вас такой ужасный цинизм. Не подобает джентльмену ваших дарований, вашей души говорить, словно какой-нибудь дикий мятежник в «Сынах Бирмы»!

– Мятежник? – повторил Флори. – О нет, я вовсе не хочу, чтобы бирманцы нас выставили вон. Господи упаси! Мне тут, как прочим нашим, нужно деньги зарабатывать. Я против одного – этого вздора насчет бремени белого человека. Непременно строить из себя великодушных спасителей мира. Тоска! Даже чертовы дураки в клубе были бы сносной компанией, если бы все мы не жили в сплошном вранье.

– Но, дорогой друг, о каком вранье вы рассуждаете?

– Да о таком, что мы сюда явились не грабить, а якобы поднимать культуру бедных братьев. Вообще-то понятная, обычная людская фальшь, но отравляет она так, как вам не снилось. От постоянной своей подлости маешься, вечно ищешь оправданий. Половина наших здешних пакостей именно из-за этого. Нас еще можно было бы терпеть, честно признай мы себя заурядными ворами и продолжай мы воровать без лицемерия.

Доктор с довольным видом щелкнул пальцами.

– Слабоссь вашего аргумента, друг мой, – сказал он, сияя от собственной ироничности, – очевидная его слабоссь в том, что вы вовсе не вор.

– Ну-ну, дорогой доктор!

Флори выпрямился в шезлонге. Перемена позы была вызвана как невыносимым зудом на вспотевшей, изъеденной тропиками спине, так и пиком их несколько странных полемик. Дискуссий шиворот-навыворот, в которых англичанин всячески язвил Британию, а уроженец

¹⁹ Имеется в виду отмечавшийся в 1887 г. первый (50-летний, в отличие от второго, 75-летнего) юбилей правления королевы Виктории.

²⁰ Слегка искаженная (в пьесе речь идет об одном человеке) цитата из трагедии Шекспира «Гамлет».

Индии с фанатичной преданностью защищал. Никакие щелчки и уколы британцев не могли поколебать восторг доктора перед Англией. Он был готов пылко и совершенно искренне подтвердить, что лично принадлежит к худшему, угасающему племени. Его вера в британское правосудие не слабела даже тогда, когда он возвращался после проведенных в тюрьме под его наблюдением телесных наказаний или казней, – возвращался, напившись, с помертвевшим серым лицом. Бунтарские речи Флори потрясали и ужасали его, сопровождаясь, впрочем, некой сладкой дрожью, как у праведника при чтении богохульных заклинаний.

– Дорогой доктор, а в чем же здесь наши цели, кроме воровства? Ведь все столь очевидно. Чиновник держит бирманца за горло, пока английский бизнесмен обшаривает у того карманы. Вы полагаете, моя, допустим, фирма могла бы получить контракт на вывоз леса, не будь в стране британского правления? Или другие лесоторговые, нефтяные компании, владельцы шахт и плантаций? Как, не имея за спиной своих, Рисовый синдикат драл бы три шкуры с нищих местных крестьян? Империя – просто способ обеспечить торговую монополию английским, точнее, шотландско-иудейским, бандам.

– Друг мой, пожалуйсьте, мне больно это слушать. Вы говорите, что пришли ради коммерции? И очень хорошо. Разве сумели бы бирманцы самостоятельно наладить дело? Построить порты, пароходы, железные дороги? Они беспомощны без вас. Что бы произошло с бирманскими лесами, которые вы бережно охраняете? Лес был бы целиком продан японцам, то исьс вырублен, дотла уничтожен. Ведь ваши бизнесмены развивают все местные ресурсы, ваши администраторы, служа общественному долгу, учат цивилизации, поднимают наш уровень – образец гуманной самоотдачи.

– Чушь, доктор! Мы учим здешних мальчишек гонять в футбол и хлестать виски, но не особо велики сокровища. Заметьте, наши школы фабрикуют дешевых клерков, но действительно нужного ремесла мы не даем – страшимся конкуренции. Кое-какие местные отрасли даже исчезли. Где теперь, например, знаменитый индийский муслин? Лет восемьдесят назад сами индийцы строили, снаряжали большие морские суда, а сейчас и рыбацьи лодки делать разучились. В восемнадцатом веке жители Индии отливали пушки вполне европейского стандарта, а теперь – после полутора веков нашего пребывания здесь – вряд ли сыщется местный умелец, способный изготовить медную гильзу. Нет, из восточных народов шли вперед лишь независимые. Оставляю в стороне Японию, но вот Сиам...

Доктор энергично замахал руками. Пример с Сиамом ему не нравился, и он всегда прерывал спор на этом месте (течение диалогов не менялось, повторяясь почти дословно).

– Друг мой, друг мой, вы забываете о восточном характере! Как развивать нас, таких вялых и суеверных? По крайней мере вы принесли сюда закон. Нерушимое правосудие, британский великий мир народов!

– Не мир, а мор народов, так честнее. И если мир, то для кого? Для судейских либо процентчиков. Конечно, в наших интересах не допускать тут распрей, но к чему сводится этот порядок? Больше банков, больше тюрем – вот и все.

– Ужасное искажение! – вскричал доктор. – А разве тюрьмы не нужны и разве ничего другого, кроме тюрем? Представьте Бирму в дни Тхибава²¹ – грязь, пытки, кромешное невежество. И теперь оглянитесь, просто посмотрите хотя бы с этой веранды – больница, а там школа, а чуть далее полицейский пост. Это все колоссальный рывок вперед!

– Не отрицаю, – сказал Флори, – модернизация идет полным ходом, спору нет. Только куда все-таки этот, столь вдохновляющий вас, доктор, «рывок вперед»? Мы действуем, и, разумеется, мы преуспеем в разрушении старой местной культуры. Но никого мы не цивилизуем, только слегка наводим лоск, предполагая повсеместно внедрить наши свинские граммофоны и

²¹ Тхибав – король завоеванного англичанами в результате Третьей англо-бирманской войны государства Ава (Верхняя Бирма). В 1885 г. взятый в плен Тхибав был сослан в Индию.

фетровые шляпы. Думаю, лет через двести все это, — он кивнул вдаль, — исчезнет, не останется ни лесов, ни деревень, ни пагод. Вместо того через каждые полсотни ярдов будут стоять нарядные чистые домики, по всем долинам и холмам домик за домиком, и в каждом граммофон, и отовсюду один мотивчик. Леса сведут, размолотят на целлюлозу для выпуска многотиражных «Всемирных новостей» или распилят на доски для граммофонных ящиков. Хотя деревья умеют мстить, как утверждает старик в «Дикой утке». Вы ведь читали Ибсена?

— Ахх, к сожалению, пока не читал, мистер Флори. По словам вашего вдохновенного Бернарда Шоу, это ум выдающийся, великий. Предвкушаю, какое удовольствие подарят мне его произведения. Но, друг мой, почему-то от вашего взгляда ускользает, что даже мизерные приметы вашей цивилизации для нас большой прогресс. Граммофоны и «Всемирные новости» гораздо лучше ужасающей воссвоточной лени. Самые рядовые британцы видятся мне некими... некими... — подыскивая метафору, доктор, вероятно, припомнил ее из рассуждений Стивенсона, — факельщиками, ведущими по тропе культуры.

— Вот как? А я вижу очень проворных, гигиеничных и самодовольных вшей, — сказал Флори и с легким вздохом, ибо доктор был не силен насчет аллюзий, пояснил: — Паразитов, ползающих вокруг света и называющих прогрессом постройку тюрем.

— Друг мой, вы положительно сосредотосились на тюрьмах! Обратите внимание на другие свершения ваших братьев — британцы пролагают дороги и орошают пустыни, возводят школы и побеждают голод, самоотверженно воюют с чумой, холерой, оспой, венерическими болезнями...

— Которые сами и завезли, — вставил Флори.

— Нет, сэр! — возразил доктор, спеша воздать должное своей родине. — Оссибаются, венерические болезни в Бирму завезены из Индии. Индийцы заражают — британцы лечат. *Вот* ответ на весь ваш мятежный пессимизм.

— Ладно, доктор, нам не прийти к согласию. Вы в восхищении от плодов пресловутого прогресса, а для меня тут маловато прелести. Пожалуй, Бирма времен Тхибава больше пришлась бы мне по вкусу. И повторюсь: все наше здешнее культурное влияние не что иное, как уроки грабежа в крупных масштабах. Без прибыли мы живо всех бы бросили.

— Друг мой, признайтесь: вы так не думаете. Будь вы действительно убеждены в дурной политике британского правительства, вы не только оссуждали бы ее в нашей беседе, но и заявляли бы об этом во всеуслышание. Я лучше, чем вы сами, знаю ваш характер, мистер Флори.

— Увы, доктор. Куда уж мне, я вроде Велиала из «Потерянного рая» исповедую «постыдное бездействие»²². В этой стране либо живи пакка-сахибом, либо умри. За все пятнадцать лет в Бирме я только с вами разговаривал откровенно. Мои дерзкие речи у вас — предохранительный клапан. Пар выпускаю, этакая тайная черная месса, если вы меня понимаете.

Рядом раздался протяжный горестный вопль. На солнцепеке у веранды стоял индус Мату, трясущийся, иссохший, одетый лишь в какой-то грязный лоскуток. До крайности напоминавший саранчу, этот привратник караулил европейскую церковь. Служба давала ему восемнадцать рупий в месяц и означала проживание подле храма в лачуге из расплюснутых жестянок, откуда он время от времени, завидев белого, выскакивал с низким поклоном и невнятным бормотанием о своем «шалованьи». Сейчас Мату жалобно глядел снизу, одной корявой бурой рукой потирая голый живот, другой рукой изображая запихивание пищи в рот. Мягкосердечный доктор, любимый объект всех местных попрошайек, достал из кармана и бросил через перила монетку в четыре аны²³.

— Наглядное вырождение Воссытока, — сказал доктор, кивнув в сторону скрючившегося, признательно заскулившего Мату. — Обратите внимание на хилые конечности: икры ног тоньше

²² Упоминается поэма «Потерянный рай» Джона Мильтона (1608—1674).

²³ Ана — мелкая монета, $\frac{1}{16}$ рупии.

запастий у европейцев. Отметьте жалкую угодливость и совершенно невероятную в Европе за пределом клиник для умалишенных неразвитость. Однажды на вопрос о его возрасте старик ответил мне: «Вроде как десять лет, сахиб». Можно ли притворяться, мистер Флори, что вы не ощущаете себя существом более высокой породы?

– Худо горемыке, не озарил его свет прогресса. На, Мату, – Флори кинул еще одну монетку, – иди, выпей и вырождайся, как умеешь. Сроки всеобщего блаженства, судя по всему, откладываются.

– Ой, мистер Флори, иногда я подозреваю, что вы меня – как это говорится? – дурачите. Английское чувство юмора, эххх? У нас, людей Воссытока, совсем нет ничего похожего.

– Счастливики. Погибель наша, этот английский юмор.

Бормоча что-то благодарственное, Мату поковылял со двора. Флори заложил руки за голову и потянулся.

– Надо идти, пока чертово солнце не поднялось слишком высоко. Чуют мои кости, жара в этом году будет адская. Да, доктор, мы все спорили, я даже не спросил вас о новостях. Я ведь только вчера из джунглей и через пару дней обратно. Какие происшествия в Кьяктаде? Скандалы?

Доктор сразу перестал улыбаться. Он снял очки, без которых сделался похожим на черного спаниеля с влажными карими глазами, и, глядя вдаль, заговорил гораздо тише, без прежней решительности.

– Скажу вам, друг мой, затеваются самые неприятные дела. Вы, наверное, будете смеяться, признаков пока никаких, но я в беде. Вернее, мне грозят большие беды. Уши европейцев ничего не услышат, но там, – он махнул рукой в направлении базара, – плетутся ужасные козни, поверьте мне.

– Может, все-таки поясните?

– Ахх, строится большая интрига, чтобы меня оклеветать и поломать мою карьеру. Вам, англичанину, такие вещи непонятны, – я навлек ненависть У По Кина, местного судьи. Чудовищно опасный враг, несущий тысячи несчастий.

– У По Кин? Кто такой?

– Огромный, очень толстый, очень зубастый человек, его дом недалеко отсюда.

– А, тот жирный мерзавец? Знаю.

– Нет-нет! – с горячностью воскликнул доктор. – Не знаете, мой друг! Английский джентльмен не может знать подобную натуру! У По Кин больше чем мерзавец, он... Трудно выразить, слова меня подводят. Это крокодил в облике человека – лютый и кровожадный крокодил. Все его злодеяния! Его разбои, зверства! Он портил девушек, насилая их на глазах матерей. Английскому джентльмену не представить такую низость. И вот этот злодей поклялся меня уничтожить.

– Наслышан я о нем. Видимо, превосходный экземпляр местного законника. Кто-то из бирманцев мне говорил, что, занимаясь во время войны рекрутством, этот распутник набрал целый батальон из собственных внебрачных сыновей. Правда?

– Вряд ли, он не настолько стар, но подлость его несомненна. А теперь он поставил целью сгубить меня, потому что я слишком много знаю и вообще ненавистен ему, как любая честная личность. Действовать будет исключенным приемом всех негодяев – станет распространять обо мне самую скверную, самую жуткую клевету. Он уже начал.

– Кто ж поверит жирному борову? Какой-то мелкой сошке в сравнении с вашим положением.

– Ах, мистер Флори, вам не понять востосского коварства. У По Кин сокрушал чиновников и покрупнее. Найдет способ вызвать доверие. Именно поэтому... Ахх, непросьтая, непросьтая ситуация...

Доктор отвернулся и начал ходить по веранде, протирая очки носовым платком. Он явно чего-то не договаривал, стеснялся. Видя его таким встревоженным, Флори открыл было рот предложить свою помощь, но промолчал, ибо хорошо знал бесполезность вмешательства в конфликты восточных людей. Белому никогда не добраться тут до сути, всегда останется нечто неясное, козни под кознями, интриги внутри интриг. Кроме того, одна из главных заповедей пакка-сахибов – держаться в стороне от «туземных склок». Он неуверенно проговорил:

– А что за ситуация?

– Дело в том, если бы... Ахх, друг мой, я боюсь снова вызвать ваш смех. Если бы только я мог стать членом вашего Европейского клуба! О! Как бы все для меня изменилось!

– Клуб? Зачем? Чем это поможет?

– Друг мой, в подобных обстоятельствах важнее всего наш престиж! У По Кин никогда не нападет открыто, он пустит сплетни, слухи, а поверят или нет, всецело будет зависеть от степени моей близости европейцам. Так уж сложилось в Индии. Когда нас уважают, мы поднимаемся, не уважают – падаем. Рукопожатие и дружеский кивок иногда значат больше сотен официальных наград. И вы не представляете, как ценно состоять в клубе, считаться как бы европейцем – недостижимым. Личность члена клуба священна.

Собравшийся уходить Флори стоял и смотрел на дорогу. Его всегда переполняло стыдом, если в беседах с доктором мелькал болезненный вопрос о цвете кожи. Хотя такого рода вещи в Индии кажутся явлением нормальным, естественным, как воздух, неприятно ощущать социальную униженность близкого друга.

– Вас могут выбрать уже на следующем собрании, – сказал Флори. – Не поручусь, что выберут, однако не исключено.

– Надеюсь, мистер Флори, мои слова не прозвучали просьбой мне посодествовать? Ради Бога! Возможности ваши ограничены, я знаю, я всего лишь отметил, что прием в клуб – надежное средство защиты...

Флори нахлобучил панаму и легонько похлопал стеклом уснувшую под шезлонгом Фло. Ему было очень не по себе. Он понимал – хвати у него духа на пару схваток с Эллисом, доктора Верасвами наверняка примут. И доктор его друг, вернейший, едва ли не единственный. Сколько часов они провели в разговорах на докторской веранде, доктор бывал у него и очень хотел представить Флори своей супруге (благочестивая индуска с ужасом отказалась). Они вместе ездили на охоту – обвешанный боевым снаряжением доктор, пыхтя, карабкался по скользким, засыпанному листвой бамбука склонам и палил в пустоту. Хотя бы правила приличия требуют поддержать друга. Но доктор прямо никогда не попросит, а сам он не способен отстаивать его в неизбежных мерзких дрызгах. Нет, не способен! Да и стоит ли пытаться?

– По правде говоря, – произнес Флори, – вопрос сегодня поднимался, и скотина Эллис, естественно, побрызгал слюной насчет «черномазых», когда Макгрегор предложил нам принять кого-нибудь из азиатов. Полагаю, пришло распоряжение.

– Да, я слышал. Подобные вещи тут же становятся иссвестны. Это и навело меня на мысль.

– Решающим, видимо, будет июньское собрание. Я, разумеется, проголосую «за», но сделать больше, к сожалению, не сумею, попросту не в моих силах. По-моему, тут все зависит от Макгрегора. Свара, разумеется, будет неопишная. Но вполне вероятно, вас выберут, хотя натушно, из-под палки. Они совсем свихнулись на «чистоте» их клуба.

– Конессно, конессно, друг мой! Прошу вас, не беспокойтесь. Еще вам не хватало из-за меня испортить отношения с братьями по крови. Умоляю вас, подальше от неприятностей! Сам факт вашей дружбы со мной невероятно мне помогает. Престиж, он как термометр, и с каждым вашим висситом ко мне столбик ртути подрастает еще на полградуса.

– Что ж, будем стараться предельно разогреть его. Боюсь, кроме этого немногим смогу помочь.

– Но это много, поистине много, друг мой! И вот еще, только не смейтесь, вам ведь тоже надо остерегаться. Рядом крокодил! Узнает, что вы за меня, – мгновенно нацелится и на вас.

– Ясно, доктор. Буду остерегаться чудища. Хотя чем, собственно, ваш крокодил способен мне навредить?

– В любом случае он попытается. Я знаю, его тактикой будет убрать моих друзей, и он поссьмеет оклеветать даже вас.

– Меня? Ну, дудки! Не дотянется плебей до римского патриция. Я ж как-никак англичанин!

– Но все же берегитесь, друг мой. Не ссьтоит его недооценивать. Крокодилы всегда... – доктор пощелкал пальцами, образные выражения у него частенько путались, – бьют по больным местам!

– О-о, доктор, неужели крокодилы столь чутко различают наши слабости?

Оба рассмеялись. Теплота отношений позволяла им вместе посмеяться над забавной английской фразой доктора. Возможно, в глубине души доктор сейчас был несколько разочарован тем, что Флори не ринулся спасти его, однако он скорее бы умер, нежели обнаружил это. А Флори более всего мечтал оставить крайне смущающий сюжет.

– Ладно, действительно пора идти. Счастливо оставаться, доктор, на случай, если не увижу вас до отъезда. Надеюсь, выборы пройдут нормально. Макгрегор – неплохой старый пень. Осмелюсь предположить, он дожмет их с вашим приемом.

– Будем надеяться, будем надеяться. Чтобы я ссьмог открыто бросить вызов всем у покинам! До свидания, друг мой, до сськорого свидания!

Флори поправил панаму и пошел через залитый солнцем плац домой, к завтраку, для которого утро, проведенное в табачном дыму за выпивкой и тяжким разговором, не оставило никакого аппетита.

4

Флори спал, раскинувшись в одних легких сатиновых штанах на своей влажной от пота постели. Очередной абсолютно свободный день. После каждых трех недель на лесных стоянках несколько дней он проводил в Кьяктаде, где главным образом бездельничал, поскольку конторских забот имелось очень немного.

Спальня была довольно просторной, с оштукатуренными белыми стенами, сквозными входными проемами и незащитой решеткой потолочных балок, пристанищем хлопотливых воробьев. Скучная обстановка включала массивную кровать с прикрепленной к балдахину москитной сеткой, плетеный стул, плетеный стол, зеркальце и грубо сколоченные полки, вмещавшие несколько сотен книг, переплеты которых в тропиках покрылись сизым налетом плесени. Распластавшись на стене, тукту (ящерка) застыла, будто геральдический дракон. Свет за верандой густо лился потоком белого сверкающего масла. Монотонные стоны голубей в чаще бамбука как-то очень созвучно сливались со знойной духотой, навевая сонную дрему не колыбельного напева, а скорее паров хлороформа.

Ярдов за двести, возле бунгало мистера Макгрегора, исполнявший обязанности живых часов привратник четыре раза ударил по куску рельса. Разбуженный этим сигналом Ко Сла, слуга Флори, направился в сарайчик, раздул угли и вскипятил воду, после чего, обрядившись в розовый гаунбаун с муслиновым эйнджи, понес чайный поднос хозяину.

Ко Сла (полное его имя было Маун Сан Хла), типичный местный крестьянин, низкорослый и коренастый, отличался очень темной кожей, гримасой постоянной озабоченности и довольно редким у безбородых бирманцев украшением – хвостиками усов, свисавших по углам рта. У Флори он служил со дня приезда того в Бирму. Они были ровесниками, разница в возрасте меньше месяца, и вместе, как мальчишки, бегали пострелять или поплавать, вдвоем сидели в мачанах (засадах на деревьях), поджидая ни разу не появившихся тигров, дружно делили тяготы долгих пеших переходов и лесных лагерей. Помимо этого Ко Сла подыскивал Флори подружек, занимал для него деньги у китайских ростовщиков, укладывал его, пьяного, в постель, выхаживал во время приступов лихорадки. В глазах Ко Сла неженатый Флори оставался юнцом, тогда как сам он успел жениться, народить пятерых детей и – добровольно удвоив муки супружества – завести вторую жену. Как полагается слуге холостяка, Ко Сла был ленив и неряшлив, зато предан безгранично. Он никогда бы никому другому не позволил прислуживать Флори за столом, или нести его ружье, или придерживать ему оседланного пони, а если дорогу преграждал ручей, непременно перетаскивал господина на собственной спине. К Флори он относился с жалостью: и оттого, что считал его наивным, беспомощным ребенком, и особенно из-за зловещего, как ему думалось, родимого пятна.

Осторожно опустив поднос на низкий столик, Ко Сла пощекотал спящему пятку (единственный безопасный способ будить хозяина). Чертыхнувшись, Флори перевернулся и зарылся лицом в подушку.

– Четыре часа, наисвятейший. Я приносить две чашки, тут женщина.

Женщиной у Ко Сла именовалась любовница Флори Ма Хла Мэй. Всегда лишь «женщиной» не по причине неодобрения любовницы как таковой, но ввиду ревности к ее влиянию в доме.

– Наисвятейший идти вечером играть в тиннис? – спросил Ко Сла.

– Нет, слишком жарко, – ответил Флори, будто находился в Брайтоне. – Есть не хочу, убери эту дрянь. Дай мне виски.

Не умеющий правильно говорить по-английски, Ко Сла однако понимал язык прекрасно. Бутылку он принес, а вместе с ней ракетку, которую демонстративно прислонил к стене напро-

тив кровати. Теннис в его сознании являлся священным ритуалом белых, и уклонение хозяина от обряда ему не нравилось.

Флори с отвращением отодвинул бутерброд, но, подлив виски в чай, выпил чашку и почувствовал себя лучше. После сна, длившегося от полудня, все тело ныло, во рту отдавало свинцом и копотью, будто от горелой газеты. Трапезы давно перестали приносить удовольствие. Еда в Бирме отвратительна – испеченный на пальмовой закваске хлеб вкуса пресной резиновой лепешки, масло лишь из консервных банок, того же сорта порошковое молоко, из которого получается водянистая серая жижа.

Едва Ко Сла вышел, послышался высокий гортанный женский голос:

– Мой господин не спит?

– Входи, – довольно раздраженно буркнул Флори.

Вошла, сняв у порога красные лакированные сандалии, Ма Хла Мэй. В виде особой привилегии ей позволялось заходить на чаепития, но в иных случаях присутствие за столом было столь же запрещено, как ношение обуви в присутствии господина.

Лет чуть более двадцати и ростом метра полтора, Ма Хла Мэй была в светло-голубом, узорно вышитом лонджи из китайского сатина и белоснежном эйнджи. На груди висели цепочки золотых медальонов; туго закрученный, точно эбеновый, валик блестящих черных волос был украшен цветками жасмина. Со своей хрупкой, словно сделанной искусным резчиком фигуркой, медным овальным личиком и узкими глазами, она казалась диковинной, но на редкость красивой куклой. Комнату наполнил аромат сандалового дерева и кокосового масла.

Ма Хла Мэй села на край постели, крепко прильнула к Флори и, как принято у бирманцев, потерлась плосковатым носом о его щеку.

– Зачем мой господин утром не звал меня?

– Спал. Слишком жарко для таких штучек.

– Вам лучше спать без Ма Хла Мэй? Ах, это значит – я некрасивая? Я некрасивая, мой господин?

– Уйди, – отпихивая ее, сказал Флори. – Сейчас я тебя не хочу.

– Тогда пусть господин хотя бы потрогает меня губами, как у белых!²⁴

– На, получи и оставь меня. Принеси-ка сигарет.

– Почему господин больше не хочет заниматься со мной любовью? Ах, два года назад он был другой! Любил меня, дарил мне золото, привозил мне красивый шелк из Мандалая. А сейчас вот, – она вытянула тоненькую ручку в муслиновом рукаве, – ничего нет, я все мои тридцать браслетов отдала в заклад. Как теперь показаться на базаре без браслетов и опять в том же лонджи, что уже много раз все видели? Мне стыдно перед другими женщинами.

– Я виноват, что ты свои браслеты заложила?

– Два года назад господин бы их выкупил! Ах, он больше совсем не любит Ма Хла Мэй!

Она обняла Флори и, наученная им европейской манере, поцеловала его. Пахнуло смесью сандалового дерева, чеснока, кокосового масла и жасмина. Запахом, от которого у Флори покалывало зубы. Отстранившись, придерживая ее голову на подушке, он стал разглядывать странное юное лицо с высокими скулами, растянутыми веками и маленьким, изящно вычерченным ртом. Зубки у нее были, как у котенка. Пару лет назад он, торговавшись с родителями девушки, купил ее за триста рупий. Флори погладил смуглую шею, похожую на стройный гладкий стебель.

– Ты липнешь ко мне, потому что я белый и богатый?

– Нет, я люблю, я очень-очень люблю господина. Зачем так говорить? Разве я не была всегда верная?

– У тебя есть любовник бирманец.

²⁴ В бирманском обиходе не существует ни слова, ни понятия «поцелуй».

– Ух! – Ма Хла Мэй изобразила гадливую дрожь. – Терпеть, как трогают ужасные темные руки? Если бирманец меня тронет, я умру.

– Лгунья!

Он положил ладонь ей на грудь. Вообще-то Ма Хла Мэй это коробило, так как напоминало о наличии груди, существование которых для бирманок несовместимо с идеалом красоты. Однако она лежала, предоставив Флори свободу действий, совершенно пассивная, но довольная, с легкой улыбкой на губах, – сытая кошка, позволяющая себя гладить. Ласки Флори не значили ничего (истинным ее возлюбленным был Ба Пи, младший брат Ко Сла), но пренебрежение господина уязвляло. Подчас она даже подмешивала ему в пищу приворотные зелья. Нравилось ей вести жизнь праздной наложницы. Нравилось навещать свою деревню, похваливаясь нарядами и положением бо-кэдоу, жены белого мужчины, ибо она сумела убедить всех, начиная с себя, что действительно являлась супругой Флори.

Покончив любовный труд, обессиленный Флори молча отвернулся, прижал ладонь к родимому пятну. Чувство стыда сразу напоминало об отметине. Противно было дышать во влажную подушку, пропахшую кокосовым маслом. Все тот же душный зной, все те же заунывные голубиные стоны. Голая Ма Хла Мэй, опершись на локоть, улыбаясь, обмахивала Флори плетеным веером.

Затем она встала, оделась, закурила сигарету и, вернувшись, стала поглаживать плечи Флори. Белизна кожи завораживала ее странным видом и тайным значением власти. Флори дернулся, сейчас подруга его бесила, хотелось лишь быстрее ее спроводить.

– Уходи, – сказал он.

Ма Хла Мэй попыталась кокетливо вложить свою сигарету ему в рот.

– Зачем господин всегда сердитый, когда сделал со мной любовь?

– Уйди, – повторил он.

Ма Хла Мэй продолжала гладить его плечи. Мудрости оставлять Флори в определенные моменты она не набралась, считая интимную близость актом некоего женского колдовства, раз от разу все больше превращающего мужчин в слабоумных, покорных рабов. С каждым объятием, верилось ей, Флори слабеет, а чары набирают силу. Она принялась теревить, обнимать его, упрекая в холодности, стараясь вновь разжечь, пытаясь поцеловать спрятанное в подушку лицо.

– Иди-иди! – с досадой бросил Флори. – Вон мои шорты, там в кармане деньги, возьми пять рупий и иди.

Спрятав за пазухой пять рупий, Ма Хла Мэй все же не ушла. Склонясь над Флори, продолжала его тормозить, пока он, вконец разозлившись, не вскочил.

– Иди отсюда! Сказано, уйди! Осточертела!

– Хорошо разве говорить эти слова? Как будто с проституткой.

– Такая ты и есть. Пошла вон! – крикнул он, вытолкав ее и швырнув вслед сандалии. Их стычки часто завершались подобным образом.

Флори зевнул, раздумывая. Пойти, что ли, все же на теннис? Но тогда надо бриться, а для таких усилий пришлось бы опрокинуть еще пару стаканчиков. Он сделал было вялый шаг к зеркалу, дабы обследовать щетину, но под угрозой увидеть свою кошмарную измятую физиономию остановился. Несколько секунд, чувствуя слабость в каждой мышце, он созерцал ползущую под потолком, крадущуюся к мотыльку тукту. Сгоревшая сигарета Ма Хла Мэй едко чадила. Флори достал с полки книгу, открыл и, содрогнувшись, кинул в угол. Сил не было даже читать. О Боже, Боже, куда деться, как убить проклятый вечер?

Шлепая лапами и махая хвостом, подбежала зовущая на прогулку Фло. Флори хмуро прошел в смежную маленькую ванную с каменным полом, надел шорты, рубашку. До заката требовалось непременно размять, активно разогреть все мускулы. В Индии, вообще говоря, не пропотеть насквозь хотя бы раз за день – беда: чувствуешь себя грязнее тысячи грешников.

С приближением вечерних сумерек настигает такая безумная, безысходная тоска, что ничем – ни чтением, ни молитвой, ни болтовней, ни выпивкой – не изгнать этой гадости; вытянуть ее может только пот.

Из дома Флори пошел к джунглям. Сначала через заросли низкого кустарника с редкими стволами диких манго, усыпанных смолистыми плодами не крупнее сливы, затем лесом. Безжизненные в это время года джунгли обступали дорогу чащей пыльных деревьев с тусклой, пожухшей листвой. Не видно было никаких птиц, кроме неуклюже прыгавших по кустам бурых растрепанных созданий, похожих на обнищавших и опустившихся дроздов. Еще какая-то невидимая птица издали, словно хохочущее эхо, одиноко выкрикивала «ах-ха-ха! ах-ха-ха!». От палых листьев шел ядовитый хмельной запах. Было по-прежнему жарко, хотя солнце утратило дневную яркость и косые лучи пожелтели.

Мили через две дорога вывела к речному броду. Вблизи воды лес стал выше и зеленее. У края берега чернел огромный древесный остов мертвого пинкадо²⁵, сплошь оплетенный гирляндами орхидей, прибрежные кусты лимонника источали резкий цитрусовый аромат. Быстро шагая в намокшей рубашке, с лицом, залитым едким потом, Флори выпаривал из себя хандру. Добавила радости и неизменно ласкавшая глаз прозрачная вода реки – редчайшее явление на здешних илистых землях. Ступая по камням, Флори перешел поток, прошлепавшая вслед за ним Фло кинулась вперед знакомой тропой, пробитой в зарослях ходившим к водопою скотом и крайне редко посещавшейся людьми. Оканчивалась тропа расположенной ярдов на пятьдесят выше брода мелкой заводью. Здесь рос мощнейший тутовый баньян, великан со стволом толщиной шесть футов и целой рощей воздушных корней, свисавших будто тросы исполинского корабля. Из-под основания дерева бил прозрачный зеленоватый ключ, пышная крона накрывала заводь сплошным лиственным куполом.

Скинув одежду, Флори вошел в воду, которая была чуть прохладнее воздуха и доходила ему, присевшему, до шеи. Стайки серебристых махси, рыбешек не крупнее сардинок, окружили его, плотоядно тычась в тело. Фло тоже бултыхнулась и бесшумно, как выдра, поплыла, перебирая перепончатыми лапами. Место ей было хорошо известно, они с хозяином нередко сюда наведывались. Гуща ветвей вверху кипела и клекотала: тучи зеленых голубей клевали тутовые ягоды. Флори пристально всматривался в зеленевший свод, пытаясь разглядеть птиц, но они совершенно сливались с листьями, и наполненное ими трепещущее дерево казалось обиталищем птичьих призраков. Верная своей природе Фло рычала на кого-то, затаившегося под корнями. Один из голубей, спорхнув вниз, сел на ветку у самой воды – хрупкий, гораздо меньше обычного ручного голубя, нежная, как бархат, нефритовая спинка, шейка и грудка в радужных переливах, лапки из розового воска.

Покачиваясь, голубок раздувал перышки на груди и приглаживал их коралловым клювом. Сердце сдавило болью – одиночество, вечное одиночество! Часто в лесном уединении Флори встречалось что-то – птица, дерево, цветок, – что могло бы увидаться несказанно прекрасным, если бы рядом была близкая душа. Красота бессмысленна, если не с кем ею поделиться. Ах, будь у него настоящий, чуткий друг! Ну хоть один-единственный! Голубок, вдруг заметив человека, тут же взвился, умчался, треща крыльями. Нечасто вблизи увидишь зеленых голубей. Эти птички летают высоко, живут на верхушках деревьев, к земле спускаются разве что глотнуть воды. Подстреленные, но не убитые наповал, они, вцепившись в ветки, держатся до последнего вздоха и падают, когда нетерпеливых охотников давно уж нет.

Флори выбрался из воды, оделся и обратно перешел брод. Теперь возвращаться он решил не по дороге, а в обход, лесной тропинкой, которая вела к деревне на краю джунглей, невдалеке от его дома. Фло рыскала в кустах, повизгивая, если острые колючки цеплялись за мох-

²⁵ Пинкадо (пынкадо) – местное название широко распространенного в Бирме крупного (высотой до 35 м и более метра в диаметре) дерева, которое в Европе чаще именуют «железным деревом».

натые длинные уши; однажды ей повезло поднять тут зайца. Флори шел медленно, дымок из его трубки вился ровной прямой струйкой. Блаженство после прогулки и родниковой заводи. Стало прохладнее, лишь под самыми густыми кронами еще обдавало затаившейся жарой, свет перестал резать глаза. Где-то поблизости мирно поскрипывали колеса деревенской телеги.

Вскоре путники заблудились в лабиринте сухих деревьев, потом путь наглухо перекрыла гуща каких-то похожих на гигантские комнатные аспидистры жутких растений, каждый лист которых оканчивался тонкой плетью с шипами. В кустах уже, возвещая сумрак, загорелись изумрудные искры светлячков. Скрип колес раздавался совсем рядом.

– Эй, сэя ги, сэя ги! – закричал Флори, придерживая за ошейник норовившую убежать Фло.

– Ба ли-ди? – откликнулся голос бирманца. Глухой стук воловых копыт замер.

– Прошу вас, пожалуйста сюда, добрейший и мудрейший! Мы заблудились, помогите, о великий строитель пагод!

Засвистел, рубя лианы, острый крестьянский дах, и сквозь джунгли пробился коренастый одноглазый бирманец, который вывел к дороге. Флори уселся на тряскую, узкую и плоскую, телегу, крестьянин взялся за вожжи, крикнул, погоняя волов, тыча им в основания хвостов короткой палкой, и скрипучая повозка двинулась. Бирманцы редко смазывают жиром оси колес, а если спросишь почему, ссылаются на бедность, однако главная причина в их суеверии: они убеждены, что скрипом отгоняют злых духов.

Проехали мимо деревянной выбеленной пагоды не выше человеческого роста, вполовину скрытой ползучей зеленью. Тропинка запетляла по деревне из пары десятков крытых соломой лачуг; чуть в стороне над колодцем вздымалось несколько бесплодных финиковых пальм. Султаны пальмовых верхушек торчали пучками перьев на боевых стрелах. Хохочущая желтокожая толстуха в туго затянутом под мышками лонджи гонялась с бамбуковой палкой за бегавшей вокруг хижины и так же весело скалившейся собакой. Несмотря на название Ньянглебин («Четыре баньяна») никаких баньянов, вырубленных, видимо, давным-давно, рядом не наблюдалось. Здешние жители обрабатывали узкую полоску земли перед джунглями и, кроме того, занимались изготовлением телег, сбывавшихся в Кьяктаде. Повсюду у домов лежали огромные, метра полтора в диаметре, колеса с грубо, но прочно вырезанными спицами.

Наградив возницу монеткой в четыре аны, Флори слез. Тут же, сердито фырча, повыскакивали из-под хижин пестрые дворняжки. Стайка голых ребятишек с выпученными животами и узелками стянутых на макушке волос обнаружила явное любопытство к белому человеку, хотя держалась все-таки поодаль. Вышел из дома пожилой, усохший, как осенний бурый лист, деревенский староста. Возникла некоторая напряженность. Флори уселся на крыльце и вновь раскурил трубку; его мучила жажда.

– Есть у тебя, тхагай-мин, – спросил он, – вода, которую можно пить?

Староста задумался, поскреб лодыжку левой ноги корявыми пальцами правой.

– Можешь ее пить – пить можно, не можешь – нельзя пить, тхэкин.

– О-о! Мудро.

Толстуха, что гонялась за собакой, принесла закопченный чайник и чашку без ручки, угостив Флори отдававшим дымком бледным зеленым чаем.

– Пора идти, тхагай-мин, спасибо за чай.

– Иди с богом, тхэкин.

Когда Флори вышел на плац, совсем стемнело. Дожидавшийся Ко Сла уже надел свежий эйнджи, согрел две канистры воды для ванны, зажег лампы и разложил на кровати костюм с чистой рубашкой – намек на то, что Флори следует побриться, переодеться и после ужина идти в клуб. Порой Флори весь вечер оставался в сатиновых штанах, валялся и читал; эту привычку Ко Сла решительно не одобрял. Вообще, любое отступление господина от обычаев белых вызывало его крайнее неудовольствие. Тот факт, что дома хозяин сидел трезвым, а из

клуба являлся вдрызг пьяным, ничего не менял, ибо пьянство входило в кодекс поведения белого человека.

– Женщина уходит на базар, – радостно сообщил Ко Сла, как всегда довольный отсутствием Ма Хла Мэй. – Ба Пи брал фонарь ее встречать.

– Ладно, – сказал Флори. («Пять рупий побежала тратить, все на игру просадит», – подумал он.)

– Ванна готова, наисвятейший.

– Погоди, нужно собаку привести в порядок. Неси гребень. Сев на корточки, они вдвоем расчесали шелковую меховую шкурку Фло, вычистили из-под когтей комки шерсти, и главное, тщательно вынули клещей. Обязательная ежевечерняя процедура. За день Фло успевала подцепить массу этих мелких, с булавочную головку, омерзительных серых тварей, которые, впившись в тело, разбухали до размера горошины. Каждого извлеченного клеща Ко Сла клал на пол и усердно давил босой пяткой.

Затем Флори побрился, принял ванну, оделся и сел ужинать. Ко Сла встал за стулом, обмахивая господина веером. Середину стола он украсил вазой с букетом алых гибискусов. Кушанья отличались претенциозностью и скверным вкусом. «Ученые» повара, потомки слуг, которых долго школили в Индии французы, способны из любых продуктов приготовить любое блюдо, за исключением съедобного. После ужина Флори отправился в клуб сыграть партию в бридж и трижды хорошенько хлебнуть, соблюдая регламент большинства своих вечеров в Кьяктаде.

5

Несмотря на изрядную дозу принятого спиртного, выспаться Флори не удалось. Обычно вой уличных псов начинался к полуночи, но тут целый день дрыхнувшие на жаре дворняги решили пораньше завести свою лунную серенаду. Одна из собак, невзлюбив дом Флори, регулярно являлась выть именно сюда. Усаживалась недалеко от ворот и каждые полминуты, как по секундомеру, издавала жуткий раздирающий вопль, причем это могло продолжаться и два, и три часа, до первых петушиных криков.

Флори ворочался, голова трещала. Какой-то болван изрек, что питать ненависть к животным невозможно, – стоило бы ему провести несколько ночей в Индии, вдоволь насладиться собачьим воем. В конце концов мучения Флори достигли предела. Он встал, выволок из-под кровати походный жестяной сундук, достал винтовку с парой патронов и вышел на веранду. При луне ясно различались и собака, и ружейная мушка. Прислонясь к столбу, он тщательно навел прицел и вздрогнул от грубого резкого толчка: у винтовки была слишком сильная отдача. Мимо. Дрожь в занывшем плече не унималась. Флори опустил винтовку. Хладнокровно стрелять он не умел.

Теперь какой сон! Прихватив пиджак и сигареты, Флори начал прохаживаться по садовой дорожке между призрачно темневшими цветами. Было тепло, жужжащие москиты неотступно и плотоядно вились рядом. По плацу носились друг за другом собачьи тени. Слева зловеще белели плиты английских надгробий, чуть дальше бугрились следы старинных китайских могил. Склон славился привидениями, которые ночью не раз пугали возвращавшихся из клуба слуг.

«Шавка, поджавшая хвост шавка, – беспощадно (и, надо сказать, привычно) клеймил себя Флори. – Подлая, ленивая, блудливая, пьяная, вечно ноющая шавка. Это тупое, презираемое тобой дубье лучше тебя, любой из них получше. Они хоть просто идиоты. Не слабаки, не падаля лживая, а ты...»

Причина для самобичевания была. Вечером в клубе произошло нечто паршивое. Инцидент не из ряда вон, но пакость образцовая.

Когда Флори явился в клуб, там находились только Эллис и Максвелл. Чета Лакерстинов, позаимствовав у мистера Макгрегора автомобиль, отправилась на станцию встречать племянницу. Сели играть в «бридж на троих», общались довольно дружелюбно, когда вбежал на себя не похожий, красный от гнева Вестфилд, сжимавший в руке газетенку «Сыны Бирмы». Наглые враки о Макгрегоре дьявольски разозлили Вестфилда и Эллиса. Они настолько разъярились, что Флори пришлось здорово напрячься, дабы изобразить приличную степень негодования. Эллис минут пять без перерыва изрыгал проклятия, после чего причудливым умственным виражом вывел: статья на совести доктора Верасвами. И тут же придумал контрудар: они поместят на доске общую декларацию с решительным отказом от предложения Макгрегора. Немедленно своим мелким четким почерком Эллис написал текст: «Ввиду оскорбительной клеветы в адрес представителя комиссара, мы, нижеподписавшиеся, считаем данный момент абсолютно неподходящим для обсуждения вопроса о приеме в Европейский клуб черномазых...» И т.д.

В угоду Вестфилду, возразившему против «черномазых», к этому чуть заметно перечеркнутому термину сверху добавилось «аборигенов». Документ подписали Р. Вестфилд, П. Эллис, С. Максвелл и Д. Флори.

В восторге от своей идеи, Эллис даже подобрел. Само заявление, конечно, лишь бумажка, зато новость мгновенно разнесется и уже завтра дойдет до Верасвами. Весь город будет знать, что для белых индийский доктор просто цветная шваль. Эллис ликовал. То и дело поглядывал на доску, восклицая: «Будет о чем подумать докторишке, а? Узнает жирный педик, какая он важная птица! Как еще их породе вразумишь?»

Итак, Флори подписался под коллективным пинком другу. Сподличал по той самой причине, по которой подличал многократно, – не хватило искорки мужества. Он мог, конечно, возразить, но протест означал бы полный разлад с Вестфилдом и Эллисом. Ох, только не разлад! Вражда, издевки!.. При одной мысли насчет этого пронзила дрожь, пятно на щеке начало пульсировать и горло сжало какой-то виноватой робостью. Ох, только не это! Куда легче заочно предать друга, даже зная, что тот узнает о предательстве.

Флори уже пятнадцать лет жил в Бирме, а Бирма научит не перечить общественному мнению. Но беда его родилась гораздо раньше, еще в материнском чреве, где случай наградила его сизой меткой во всю щеку. Последствия помнились хорошо. Вот он впервые в школе, ему девять лет, ребята на него таращатся и через пару дней кричат: «Эй ты, Пятнистый!» Кличка держалась до поры, когда школьный поэт (ныне известный критик, Флори встречал в газетах его довольно дельные статьи) сочинил:

Раскрасил морду Флори странно —
Точь-в-точь как жопу обезьяны.

Флори незамедлительно переименовали в Обезьяню Жопу. И потом. У элиты старшекласников по ночам практиковался «суд инквизиции»: любимой пыткой было держать кого-нибудь очень болезненным захватом (назывался он «Уганда-экстра»), в то время как палач хлестал жертву нанизанными на бечевку ракушками. Но Флори умудрился искупить грех Обезьяней Жопы. Он умел притворяться и играть в футбол – первейшие для школьника таланты. К последнему семестру он уже оказался среди избранных, державших юного поэта приемом «Уганда-экстра», пока капитан футболистов снятой с ноги шиповкой отделявал слюня, пойманного за сочинением сонета. Это был важный этап.

Затем его воспитывали в третьесортном пансионе, убогом и насквозь фальшивом. Копируя стиль дорогих закрытых заведений, там предлагали все: и аристократичный церковный тон, и крикет, и латынь, даже свой школьный гимн «Жизнь – это матч», где Бог уподоблялся честному главному рефери. Не имелось только важнейшей ценности дорогих школ – подлинной культуры. Мальчики достигали поразительных успехов в невежестве. Никакими порками не удавалось впихнуть в них отчаянно нудный учебный хлам, а нищие, никудышные учителя не годились на роль мудрых и вдохновляющих наставников. Образование Флори завершил полуграмотным дикарем. В нем были, и он это знал, определенные способности, однако же не те, что могли нравиться товарищам, и, разумеется, он подавил их. Готовясь к взрослой жизни, паренек по кличке Обезьяня Жопа отлично выучил преподанный урок.

В Бирме он очутился, когда ему еще не исполнилось двадцати. Родители, люди славные, горячо любившие сына, нашли ему место в лесоторговой фирме, решившись выплатить за него колоссальную по их средствам страховку (он затем отблагодарил родных, изредка присылая открытки с небрежными каракулями). Первые полгода Флори болтался в Рангуне, где якобы изучал коммерцию. Поселившись вместе с четырьмя такими же юнцами, ударился в разгул – и сколь невзрачный! Дружно хлестали виски, которое каждый из них втайне ненавидел, дружно орали, навалиясь на фортепиано, дико похабные и глупые куплеты, дружно проматывали сотни рупий на страшных, вышедших в тираж блудниц вавилонских. Этот этап тоже определил многое.

Из Рангуна его направили в джунгли севернее Мандалая, где добывалось тиковое дерево. Несмотря на одиночество, отсутствие комфорта и такой, едва ли не худший, порок Бирмы, как дрянная однообразная еда, жизнь в лагере оказалась неплохой. Еще бредивший образом героя, Флори завел приятелей среди коллег. И снова пошли развлечения: охота, рыбалка, возможность раз в год съездить в Рангун «к дантисту». О радости этих коротких рангунских дней! Набеги на лавки букинистов за новыми романами! Обеды в английских ресторанах с бифштек-

сами, с настоящим, проехавшим восемь тысяч миль в морозильном ящике маслом! Великолепие грандиозных попоек! Юное непонимание уже сложившейся судьбы, приготовившей впереди долгие годы крошечного скучного и одинокого гниения.

Он акклиматизировался. Организм привык к странному ритму тропических сезонов. С февраля по май солнце пылает гневным божеством, затем внезапный западный муссон обрушивает шквалы, а затем бесконечный ливень, когда сырость пропитывает и вещи, и постель, и даже пища кажется насквозь промокшей. Причем зной не уходит, превращаясь в жаркую парилку. Низины джунглей раскисают сплошным болотом, поля становятся гигантской лужей, отдающей затхлой мышиной вонью. На книгах и башмаках расползаются пятна плесени. Обнаженные бирманцы в широких шляпах из пальмовых листьев вспахивают топкую грязь, погоняя ступающих по колено в воде буйволов. Следом женщины с детьми, аккуратно орудуя миниатюрными трезубцами, высаживают рассаду: отдельно каждый зеленый рисовый росток. Июль и август дожди льют практически непрерывно.

Но вот однажды ночью с высоты несется пронзительный птичий клич – бекасы летят из Центральной Азии на юг. Дожди стихают, заканчиваясь к октябрю. Поля высыхают, рис созревает, бирманские детишки затевают игру вроде «классиков», прыгая на одной ноге и гоня зернышки по расчерченной земле, или запускают уносимых прохладным ветром воздушных змеев. Приходит короткая зима, когда кажется, что Верхнюю Бирму навещает призрак Англии. Всюду расцветают цветы, не совсем те, но очень похожие на английские, – пышная жимолость, дикая роза с ароматом подгнивших груш, даже фиалки в тенистых лесных ложбинках. Солнце ходит по небу низко, ночами резко холодает и рассветный белый туман наполняет долины, словно густой пар великанских чайников. Пора стрелять уток и бекасов. Бекасам несть числа, а стаи диких гусей, отдохавших на болотных травяных островах, поднимаются в небо с шумом грохочущего по железному мосту грузового состава. Волны спелых, высотой по грудь рисовых колосьев золотятся, точно пшеничные. Крестьяне спешат в поля, закутав голову, зябко поджав руки и пряча стынувшие лица. Из лагеря идешь на делянку сквозь утреннюю мглу по странной для дикой чащобы, промытой росой, почти английской траве меж голых деревьев, на верхушках которых, съежившись, ожидают солнца обезьяны. Вечером возвращаешься лесной тропой, холодно, рядом мальчишки гонят домой стада буйволов, чьи рога в сумерках маячат светлыми полумесяцами. Три одеяла на кровати и пирог с дичью вместо вечного цыпленка. После ужина посидишь на бревне у большого походного костра, попиваешь пиво, болтаешь об охоте. Отблески пляшущего алым цветком пламени освещают дальний круг сидящих на корточках слуг и носильщиков, робеющих вторгаться в компанию белых и все же, как собаки, притянутых огнем. Лежа в постели, слышишь каплющую с ветвей, шумящую тихим дождем росу. Хорошо, когда молод и не тревожат думы ни о прошлом, ни о будущем.

Флори исполнилось двадцать четыре, он как раз собирался в отпуск на родину, когда вспыхнула Первая мировая. От армии он увернулся, что было легко и ничуть не осуждалось. У штатского населения Бирмы сделались чрезвычайно популярными рассуждения насчет истинно патриотичной «верности делу» (сколь удобен язык, изящно подменяющий «долг» почти неотличимо звучащим «делом!»), наблюдалась даже подспудная враждебность к тем, кто, оставив офисы, ушел на фронт. Что касается Флори, он уже развратился Востоком и не имел желаний сменить виски, слуг и бирманских красоток на скуку строевых учений и тяготы солдатских маршей. Война глухо рокотала где-то за горизонтом. В безопасном краю, опухшем от жары и лени, повеяло тоской. Флори жадно погрузился в чтение, привыкая жить книжными судьбами, когда реальность становилась неспособна. Утомившись ребяческими радостями и волей-неволей учась думать самостоятельно, он вырос.

Свой двадцать седьмой день рождения он праздновал в больнице, с ног до головы покрытый мелкими язвами, которые считались инфекцией, но появились скорее от пьянства и скверного питания. Щербинки кое-где на коже держались еще года два. Внезапно он стал иначе

видеть, иначе чувствовать. Молодость кончилась. Накаты малярии, заброшенность и регулярные попойки поставили на нем свое клеймо.

И каждый год теперь прибавлял горечи. А в центре всех размышлений, всех досадных впечатлений заполыхала ненависть к отравившему, кажется, сам здешний воздух империализму. Мозг работал и работал (мозгам ведь не прикажешь «стоп» – известная драма недоучек, созревающих поздно, когда обидную судьбу не переделать), и Флори постигал правду насчет родимой матушки Империи. Британская Индия являлась тиранией несомненно благожелательной, однако все же тиранией, созданной ради грабежа. И ко всем белым на Востоке, всем этим сахибам, среди которых ему выпало существовать, Флори начал испытывать злобное отвращение. Отношение, надо сказать, вряд ли справедливое. В конце концов, публика не хуже прочей. Да и судьба их незавидна: отдать тридцать лет жизни службе на чужбине, чтобы, приобретя скромный доход, большую печень и шишковатую от тростниковых стульев задницу, вернуться в Англию и прилепиться к какому-нибудь захудалому клубу, – явно убыточная сделка. Впрочем, воспевать сахибов тоже нет повода. Бытует мнение, что англичан «на передовых постах» Империи отличают активность и деловитость. Заблуждение. Помимо специалистов Лесного департамента, Департамента социальных служб и нескольких других специальных ведомств, для грамотного управления делами британские служащие в общем-то не нужны. Мало кто из них по энергичности и знанию предмета сравним даже с уровнем провинциальных английских почтмейстеров. Почти всю административную работу исполняет младший туземный персонал, а подлинной основой режима является отнюдь не чиновный аппарат – держится все на армии. Подле мощной армии чиновник или бизнесмен может копошиться вполне благополучно, даже будучи полным болваном. И большинство *действительно* болваны. Скопище чванных тупиц, холящих свою тупость за оградой из четверти миллиона штыков.

Комически бездарный, бесплодный мир. Мир, где сама мысль под цензурой. В Англии трудно даже представить эту атмосферу, в Англии мы вольны: открыто продаем свои души и вновь их тайно обретаем в кругу друзей. Но о каких друзьях или хотя бы приятелях можно мечтать, если каждый твой соплеменник – лишь зубец шестеренки в деспотическом механизме? Свобода слова немыслима. Все прочие – ради бога: свобода пить беспробудно, трусить, сплетничать, бездельничать, развратничать – запрещено лишь думать самостоятельно. Любое мнение о любом, самом незначительном предмете диктуется уставом пакка-сахиба.

В итоге таишься и потайной бунт тебя разъедает, как скрытая болезнь. Живешь сплошной ложью. Год за годом сидишь в убогих, осененных скрижалями Киплинга местных клубах, слева стакан виски, справа многостраничный «Щеголь», и поддакиваешь майору Боджеру, призывающему сварить чертовых туземцев- националистов в кипящем масле; слушаешь, как твоих друзей называют «сальными индюшками», и покорно киваешь: «Да-да, индюшки»; видишь, как неотесанные юнцы лупят седовласых слуг. И постепенно начинаешь горячо ненавидеть соотечественников, страстно желать, чтобы аборигены взбунтовались и потопили Империю в крови. И во всем этом никакого благородства и даже искренности маловато. Ибо, в сущности, разве тебя горячо волнует деспотичное угнетение туземцев? Бесишься лишь оттого, что тебе лично не дают высказаться от души. Сам ты родное чадо тирании, сам ты пакка-сахиб, скованный прочнее дикаря или монаха системой жесточайших табу.

Время шло, Флори все острее чувствовал свою отчужденность, все труднее удавалось без опаски поговорить о чем-либо всерьез. Все больше он привыкал жить молча, сокровенно. Даже беседы с доктором, по сути, были беседами с самим собой, ведь добряк доктор вообще-то не очень понимал его. Но вечное подполье разлагает. Жить нужно на свету, не отходя в сторонку. Уж лучше быть тупым отставником, пьяно талдычащим про «сорок лет ровнехонько!», нежели, затаившись, одиноко и безмолвно утешаться мерцанием бесплотных миражей.

На родину Флори ни разу не ездил. Почему, он не мог бы объяснить, хотя довольно ясно осознавал это. Сначала мешали разные роковые обстоятельства: война, после войны фирма два

года его не отпускала из-за нехватки специалистов. Затем он наконец собрался. Он тосковал по Англии, испытывая, правда, страх наподобие боязни явиться перед барышней небритым. (Из дома уезжал мальчиком, много обещавшим и, несмотря на сизое пятно, красивым; теперь же, всего десять лет спустя, стал желчным пьяницей, потертой рухлядью.) Корабль поплыл на Запад, бурно вздымая волны, оставляя за кормой вьющийся снежный шлейф. От свежего морского воздуха и хорошей пищи застоявшаяся кровь взыграла, вернулось вдруг утраченное в душной атмосфере чувство, что он еще достаточно молод – еще не поздно начать сначала. Хотелось год пожить в хорошем, культурном обществе, найти подругу, которую не смутит его пятно, умную девушку, не какую-нибудь образцовую мэм-сахиб. Он женится и тогда перетерпит еще десятка полтора лет в Бирме, а после, подкопив денег, уволится, и они купят дом в Англии, где окружат себя друзьями, книгами, детьми, животными. И без следа развеется тягостный дух пакка-сахибов, и навсегда из памяти исчезнет дикий кошмарный край, который едва не погубил его.

В порту Коломбо Флори ждала телеграмма. Трое коллег скоропостижно умерли от лихорадки, фирма очень сожалеет, но не мог бы он немедленно возвратиться? Отпуск, разумеется, будет ему предоставлен при самой первой возможности.

Проклиная судьбу, он пересел на ближайший пароход до Рангуна и оттуда поездом снова прибыл к месту работы (еще не в Кьяктаде, а в другом городке). На платформе его радостно встречали все слуги, которых он передал в распоряжение сослуживца – одного из внезапно скончавшихся. Странно было вновь видеть знакомые сцены! Лишь десять дней назад, отъехав, он уже ощущал себя в Англии, и вот опять перед ним привычные сцены: бранящиеся из-за багажа полуголые кули и темнокожие возницы, кричащие на медлительных волов.

Окружив кольцом смуглых лиц, встречавшие засыпали его подарками. Ко Сла преподнес антилопию шкуру, индийцы принесли разные сласти и гирлянду оранжевых календул, Ба Пи, тогда еще совсем ребенок, – белку в плетеной клетке. Уже ждали запряженные волами телеги для его дорожных сундуков и чемоданов. К дому он шел, смешно украшенный ярким цветочным ожерельем. Вечернее солнце светило ласково. В воротах старый, цвета темной глины садовник крошечным серпом выкашивал траву, возле сарайчика для слуг жены повара и садовника тщательно растирали на камне карри.

Что-то вдруг перевернулось в душе Флори; мелькнул миг, когда чувствуешь внутри серьезную, грустную перемену. Внезапно он понял, что сердце его радо возвращению. Ненавистная Бирма сделалась его родиной. Он прожил здесь десять лет, и каждая клеточка тела успела обновиться соком здешней земли. И все это – мягкий вечерний свет, старик индеец с серпом, скрип воловьих упряжек, вереница летящих белых цапель – стало ему роднее Англии. Он пустил корни, глубокие корни в чужой стране.

С тех пор он даже не просился в отпуск. Отец умер, мать снова вышла замуж, сестры (длиннолицые чинные особы, которых он никогда не любил) обзавелись своими семьями. Теперь с Европой его связывали только книги. К тому же, понял он, родимая Англия не панацея от одиночества; слишком нагледен был сектор земного ада, отведенный возвращавшимся из колоний. Ах, эти жалкие обломки, гуляющие по аллеям Бата и Челтнема! Эти склепы-пансионы, пристанища для полутрупов разной свежести, все толкующих о случае под Калькуттой в 1888 году! Дьявольский финал бедняг, имевших несчастье оставить сердце в чужой и чуждой стране. Лично для себя единственный выход он видел в том, чтобы найти в Бирме кого-то, кто разделял бы его чувства, по-настоящему разделял все его отношение к здешней жизни и вынес бы отсюда те же воспоминания. Кого-то близкого по духу, кто будет так же любить и так же проклинать эту землю, кому можно открыться до конца, кто поймет, – короче, истинного друга.

Друга! Или подругу? Нет, женщину совершенно невозможно. Некую миссис Лакерстин? Тощую мэм-сахиб, злословящую за коктейлями, зверски донимающую слуг, за тридцать лет в стране не выучившую ни слова на местном языке? О Господи, только не это!

Флори облокотился на изгородь. Хотя луна скрылась за темной стеной джунглей, собаки все еще выли. Вспомнилась строчка из Гилберта²⁶, ерунда, но очень кстати насчет «бездонных рассуждений о глубинной своей духовности». Не лишен был таланта сукин сын! Так к чему сводится бередящая душу трагедия? Просто бабий скулеж – нытье капризной вздорной девицы? Может, он лишь бездельник, со скуки изобретающий себе горести? Томная миссис Уититерли²⁷? Доморощенный Гамлет? Возможно. Ну и что, разве легче? Боли не меньше, когда видишь себя бесчестной и бесполезной дрянью, зная, что где-то внутри есть способность быть человеком.

Ладно, хватит. Спаси нас, Господи, от жалости к себе! Флори вернулся на веранду, взял винтовку и, слегка вздрагивая, вновь прицелился в дворнягу. Гулко хлопнул выстрел – пуля зарылась в землю плаца. На плече Флори вспух гигантский синяк. Собака, взвизгнув, дала деру, через полсотни ярдов уселась и снова завела кошмарный ритмичный вой.

²⁶ Уильям Гилберт (1836—1911) – английский писатель, автор комедий и фарсов.

²⁷ Миссис Уититерли – особа, утомленная мнимой тонкостью чувств; персонаж из романа Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби».

6

Косой утренний луч упал на плац, покрыв золотом белый фасад бунгало. Четверка иссиня-черных ворон спикировала на перила веранды, карауля момент хапнуть приготовленные Ко Сла на столике у постели бутерброды. Выбравшись из-под москитной сетки, Флори крикнул, чтобы ему принесли джин, прошел в ванную и лениво залез в цинковый чан с холодной, как считалось, водой. Потом, взбодрившись джином, он побрился, хотя обычно бритье его быстро отраставшей щетины откладывалось до вечера.

Флори угрюмо принимал ванну, а мистер Макгрегор, в шортах и фуфайке, на специально имевшейся в спальне циновке одолевал позиции с номера 5 по номер 9 из руководства «Атлетический тренаж для лиц, ведущих сидячий образ жизни». Мистер Макгрегор никогда не пренебрегал комплексом утренних упражнений. Позиция номер 8 («лежа на спине, перпендикулярно, не сгибая колен, поднять ноги») была откровенно беспощадна к человеку за сорок. Позиция номер 9 («из положения лежа на спине перейти к положению сидя и пальцами обеих рук коснуться вытянутых носков») того хуже. Но надо быть в форме! Невзирая на болезненность перехода к положению сидя, мистер Макгрегор решительно потянулся пальцами рук к носкам – шею и набрякшее лицо залила краснота, грозящая апоплексическим ударом, ожившую грудь покрыли капли пота. Тянуться, тянуться! Здоровье и бодрость любой ценой! Державший наготове чистое белье Мохаммед Али ждал у полуоткрытой двери, узкое арабское лицо не выражало ни сочувствия, ни удивления. Слуга уже пять лет по утрам наблюдал эти акробатические муки, смутно полагая их жертвоприношением какому-то очень суровому божееству.

В это самое время спозаранку вышедший из дома Вестфилд, прибыв в полицейский участок, застал там младшего туземного инспектора за допросом бирманца, стоявшего под конвоем двух констеблей. Лицо сорокалетнего подозреваемого было морщинистым и серым от испуга, из-под короткого истрепанного лонджи торчали худые кривые голени, сплошь изъеденные клещом.

– Что тут? – спросил Вестфилд, усевшись, руки в карманах, у заляпанного чернилами щербатого конторского стола.

– Вор, сэр, – доложил толстяк инспектор. – Нашли при нем кольцо с изумрудом. Откуда оно у жалкого носильщика? И молчит, негодай!

Инспектор, бешено скалясь, подскочил к нищему и заорал:

– Украл кольцо?

– Нет.

– Ты ворюга?

– Нет.

– В тюрьме сидел?

– Нет.

– А ну повернись! – проревел опытный инспектор. – Нагнись!

Подозреваемый устремил задрожавшее лицо на Вестфилда, но тот глядел за окно. Констебли скрутили и нагнули жертву, инспектор задрал ему сзади лохмотья.

– Смотрите сюда, сэр! Все в рубцах – пороли бамбуком. Значит, *точно* ворюга!

– Хорошо, посадите, – буркнул Вестфилд. В глубине души ему не нравилось гоняться за всякой вороватой голью. Бандиты или бунтовщики – да. Но не эти трясущиеся жалкие крысята. – Сколько сейчас в кутузке, Моонг Ба?

– Трое, сэр.

Камера наверху представляла собой охраняемую вооруженным констеблем клетку из шестидюймового бруса. Внутри тьма, жуткая духота и никаких предметов обстановки за

исключением самого примитивного, тошнотворно зловонного отхожего места. Два арестанта скорчились на нижней перекладине подальше от третьего – индийского кули, с ног до головы, как кольчугой, покрытого стригущим лишаем. Дородная бирманка, жена констебля, стоя возле клетки на коленях, разливала в миски водянистую рисовую похлебку.

– Сыты? – спросил Вестфилд.

– Очень-очень сыты, наисвятейший, – хором откликнулись арестанты.

По норме на заключенного ежедневно отпускалось две с половиной аны, одну из которых аккуратно прикарманивала жена констебля.

Флори спустился с веранды и лениво поплелся, сшибая стеком сорняки. Утром все – светлая зелень, розоватые стволы, сиреневатая почва – окрашивалось цветной акварелью, исчезающей в слепящем дневном свете. Над плацем низко порхали стайки бурых голубей, изумрудные пчелы кружили среди цветов с неторопливостью гурманов. Вереница уборщиков тащила прикрытые краем одежды посудины к вырытой на опушке гнусной смрадной яме; еле ковылявшие на согнутых ногах заморыши в линялых тряпках выглядели процессией скелетов в могильных саванах.

Рядом с построенным у забора загонем для голубей вскапывал новую клумбу мали – слабоумный и апатичный индийский парень, живший практически в полном молчании, так как его манипурского диалекта не понимала даже жена из племени зербади; рот у парня из-за слишком толстого языка всегда был полуоткрыт. Закрыв лицо ладонью, он низко поклонился Флори и снова взмахнул своей мамути, продолжая неуклюже рубить землю ударами, сотрясавшими вялые бедренные мышцы.

На заднем дворе взвился сварливый вороний крик: у жен Ко Сла началась утренняя перебранка. Ручной бойцовый петух Неро, нервничая от присутствия Фло, с вызывающим видом прошелся по дорожке, и Ба Пи вынес миску вареного риса покормить петуха и голубей. Крик возле хижин для слуг не стихал, хриплые мужские голоса пытались прекратить ссору. Страдалец Ко Сла много терпел от своих благоверных, и от «старшей», суровой жилистой Ма Пью, и от «младшей жены», жирной ленивой Ма Йи. Однажды, когда Ма Пью гналась за мужем с палкой и Ко Сла решил спрятаться за спиной хозяина, Флори весьма чувствительно досталось по ноге.

Мистер Макгрегор – в шортах и рубашке из хаки, в охотничьем пробковом шлеме – бодро шагал по дороге с толстой тростью в руке. Помимо упражнений он старался соблюдать по утрам режим оздоровительных двухмильных прогулок. Холодная ванна и быстрая ходьба – лучшие средства начать день с энтузиазмом. Кроме того, случайно попавшая сегодня к мистеру Макгрегору и очень его расстроившая клеветническая статья в «Сынах Бирмы» заставляла особенно акцентировать оптимизм.

– Доброго здоровьица! – сердечным тоном приветствовал он Флори, шутливо имитируя ирландский говорок.

– И вам того же! – выжал из себя улыбку Флори.

«Мерзкая бочка с салом!» – подумал он, провожая взглядом мистера Макгрегора. Его тошнило от этих тугих спортивных шортиков, заставлявших вспомнить журнальные снимки веселых и умелых бойскаутских вожатых, вонючих старых педерастов. Так смехотворно вырядиться, выставив голые жирные коленки, ибо пакка-сахиб обязан укреплять мускулы перед завтраком! Фу, гадость!

На холм вскарабкался запыхавшийся бирманец, клерк из конторы Флори. Сложив ладони и почтительно склонившись, он протянул грязный конверт, проштампованный по-бирмански – на клапане.

– Доброе утро, сэр.

– Доброе утро. Что это?

– Местное письмо, сэр, сейчас пришло. Похоже, анонимное, сэр.

– Черт! Ладно, иди, я буду часам к одиннадцати.

Флори распечатал письмо, написанное на большом листе и гласившее:

«Досточтимый Мистер ДЖОН ФЛОРИ!

Осмеливаюсь просить о внимании. Позвольте, Ваша честь, предупредить и предостеречь Вас важным сообщением.

В Кьяктаде известна Ваша дружба с доктором Верасвами, которого Вы часто навещаете и даже приглашаете в свой дом. Позвольте сообщить, что вышеуказанный Верасвами ПЛОХОЙ человек и не достоин дружбы европейского джентльмена. Это очень нечестный, неверный, продажный государственный служащий.

Он выдает больным вместо лекарства цветную воду, продает наркотики и требует взятки. Несколько арестантов готовы заявить в суде, что он порет бамбуком и потом насыпает в раны перец, если родственники не приносят денег. Он также состоит в партии националистов и недавно сочинил для газеты «Сыны Бирмы» очень вредную статью против мистера Макгрегора, уважаемого представителя комиссара.

Он также насилует пациенток в больнице.

Ввиду изложенного почтительно выражаю надежду, что Вы, Ваша честь, будете СТОРОНИТЬСЯ вышеуказанного Верасвами и перестанете общаться с тем, из-за кого Вам может последовать большое зло.

Не устаю молиться о Вашем здоровье, долголети и процветании.

ВАШ ДРУГ»

Текст был выведен старательным, но шатким почерком базарного писца, однако таким невеждам неизвестны словечки вроде «сторониться». Письмо, должно быть, диктовалось клерком, а вдохновлялось, несомненно, У По Кином. «Крокодилом», – хмыкнул Флори. Что касается звучащей сквозь раболепие явной угрозы «брось доктора, не то пожалеешь!», это не впечатлило. Происки азиатов англичан не страшат.

Теперь Флори колебался: никому ничего не говорить или показать анонимку объекту доноса. Порядочность, конечно, требовала отдать письмо доктору Верасвами, предоставив ему выбор ответных действий.

И все же разумнее устранился. Едва ли не главная из десяти заповедей пакка-сахиба учит бесстрастно взирать на грызню аборигенов. Нельзя доходить с ними до подлинной дружбы. Возможны и симпатия, и привязанность (англичане Британской Индии часто искренне любят местных сослуживцев, слуг, егерей, а сипаи плачут как дети, провожая полковника в отставку), подчас допустима и душевная близость. Но союз, единение – никогда! Белому не пристало даже интересоваться содержанием «туземных склок», разбирая, кто там прав, кто виноват.

Официальное расследование вынудит открыто принять сторону доктора. На этого У По Кина наплевать, но есть британцы; адски тяжела будет расплата за спайку с индусом. Забыть надо про это письмо. Доктор хороший парень, но подняться ради него против дружно взъярившихся сахибов? Нет! Нет... Что проку человеку, душу спасающему, но теряющему целый мир²⁸? Флори разорвал лист пополам. Опасность не избежать огласки была очень слаба, очень туманна, однако в этой стране именно все туманное весьма реально. Сам престиж, основа основ здешней жизни, – чистейшая туманность. Порвав письмо на мелкие клочки, Флори кинул их за ворота.

²⁸ Саркастический парафраз обращенных к фарисеям слов Христа: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Матфей, 16:26).

В этот момент раздался женский крик, совсем не похожий на сварливые вопли бирманок. Мали, опустив свою мамути, замер с разинутым ртом. Примчался встревоженный Ко Сла, прибежала громко тявкавшая Фло. Крик повторился, несясь он из джунглей позади дома, и то был, несомненно, полный ужаса тревожный зов английской женщины.

Рванувшись, Флори перемахнул через ворота, рассадил, падая, коленку, вскочил и кинулся вдоль изгороди к джунглям. Прямо за домом, в самом начале кустарниковой чащи, имелась топкая ложбина, точнее, мелкий пруд, чрезвычайно популярный у буйволов соседней деревушки. Флори продрался сквозь кустарник – на краю пруда сжалась белая как мел девушка, рядом грозно нагнула огромную рогатую голову буйволица, прикрывавшая мохнатого буйволенка. Еще один буйвол, по шею в тине, созерцал конфликт с рассеянностью кроткого динозавра.

Девушка вскинула искаженное лицо.

– Скорей! Скорей! – воскликнула она сердитой скороговоркой человека, которого душит страх. – Ну помогите, помогите же!

Ошеломленный Флори без лишних слов бросился в воду и за неимением палки ладонью резко шлепнул по носу буйволицы. Громадина послушно повернула и медленно, шумно выкарабкалась на берег вместе с теленком. Другой буйвол, поднявшись из чавкающей грязи, тоже вразвалку удалился. Девушка буквально упала в объятия Флори, ее трясло и колотило.

– Спасибо, спасибо! О кошмар! Эти чудовища хотели убить меня! Кто это?

– Всего лишь купавшиеся буйволы.

– Буйволы?

– Не дикие бизоны, а буйволы, домашний скот бирманцев. Они вас, кажется, перепугали? Мне очень жаль.

Девушка все еще цеплялась за него, и Флори чувствовал, как она вся дрожит. Лица он сверху не видел, только белокурую, стриженную, как у мальчика, макушку. Еще он видел на своем рукаве ее руку – длинную, с почти детскими веснушками на запястье. Много лет он не видел таких рук. От прижатого к нему тела исходило нежное тепло, и в груди его что-то плавилось и таяло.

– Все хорошо, они ушли, – сказал он. – Бояться больше нечего.

Девушка перестала дрожать и чуть отодвинулась, не отнимая рук.

– Все хорошо, – повторила она, – я в порядке. Эти твари меня не тронули, только глядели жутко-жутко.

– Буйволы безобидны. Кстати, рога у них так сильно отогнуты назад, что бодаться и невозможно. Смирная, глупая животина лишь изображает боевую стойку, когда с детенышем.

Они наконец разъединились, взаимно слегка смутившись. Флори успел повернуться чистой стороной лица.

– Оригинальный вид знакомства! – сказал он. – Однако я даже не спросил, как вы здесь очутились. Простите за любопытство, откуда вы?

– Только что вышла из дядиного сада. Утро чудесное, решила немного прогуляться, а за мной вдруг эти чудовища. Я, видите ли, ничего тут не знаю.

– Ваш дядя? Ах да, понятно! Племянница мистера Лакерстина? Мы слышали о вашем приезде. Будем выбираться? Наверняка где-нибудь рядом есть тропинка. Интересное у вас первое утро в Кьяктаде! Боюсь, встреча с Бирмой не слишком вас порадовала.

– Нет-нет, только все очень странное. Какая чаща! Так все спрослось, переплелось, здесь можно моментально заблудиться. Это и есть джунгли?

– Пока лишь их кустарник. Но Бирма почти целиком из джунглей, царство свирепо изобильной флоры. На вашем месте я не шел бы по траве – мелкие семена пробьются сквозь чулки и натрут кожу.

Он пропустил девушку вперед, чувствуя себя уютнее вне ее взгляда. Девушка была довольно рослой, стройной, в сиреновом ситцевом платье. Судя по фигуре и походке, лет двадцати, может, чуть-чуть постарше. Лица он все еще не рассмотрел, заметил только круглые, в роговой оправе очки и очень коротко подстриженные волосы. Стриженных женщин Флори до этого видел лишь на газетных фотографиях.

На плаце он поравнялся с ней, и она обернулась. Овальное лицо с правильными мелко-ватыми чертами; возможно, не красавица, но в Бирме, где англичанок отличает желтушная костлявость, неотразима. Флори резко дернул головой, хотя пятно и так было надежно скрыто. Невыносимо вблизи показаться своей мятой физиономией! Морщины вокруг глаз сейчас буквально жгли его. По счастью, вспомнилось утреннее бритье, что несколько приободрило.

– Надо бы как-то стряхнуть неприятное впечатление, – сказал Флори. – Вы не хотели бы зайти ко мне, слегка передохнуть перед возвращением домой? К тому же в этот час уже не стоит ходить без шляпы.

– О, спасибо, – сразу кивнула девушка, удивительно далекая от чопорных манер Британской Индии. – А это ваш дом?

– Да, только подойдем ко входу. Я велю слугам дать вам зонтик, с вашей короткой стрижкой солнце особенно опасно.

Они пошли по садовой дорожке. Фло, всегда лаявшая на азиатов, но благоволившая к запаху европейцев, вертелась возле ног, стараясь привлечь к себе внимание. Жара набирала силу. От цветущих петуний струился терпкий черносмородиновый аромат, на траву приземлился голубь, возбуждавший охотницу Фло и мгновенно взлетевший. Флори и его спутница, не сговариваясь, остановились полюбоваться цветами. Оба вдруг ощутили прилив беспричинной радости.

– На этом солнце вам действительно не стоит ходить без шляпы, – повторил Флори, и в словах его прозвучала некая неуловимая интимность. Вновь упомянуть ее стрижку язык не поворачивался, эти короткие волосы виделись столь прекрасными – сказать о них было все равно что их погладить.

– Смотрите, у вас на колене кровь, – сказала девушка. – Вы поранились, когда спешили мне на помощь?

На буром чулке Флори темнела высохшая кровавая струйка.

– Ерунда! – отмахнулся он, но для обоих в тот миг это было вовсе не ерундой.

С необычайным пылом они начали болтать о цветах. Девушка, как выяснилось, их «обожала», и Флори повел ее дальше, останавливаясь возле каждого растения и говоря без умолку:

– Взгляните, какие флоксы! Цветут здесь по полгода, им слишком много солнца не бывает. У палевых оттенков, по-моему, совершенно как у примул. Знаете, я уже пятнадцать лет не видел ни примул, ни желтофиолей. Циннии замечательные, правда? Невероятно изысканны, словно творение живописца. А это африканская календула, грубятина, почти сорняк, зато какая яркость, какая мощь! В Индии их чрезвычайно почитают, найдешь всюду, где побывали индусы, даже через много лет в джунглях, когда уж, кажется, заросли все следы. Но вы непременно должны подняться на веранду, увидеть мои орхидеи. Хочу вам показать золотые колокольчики, поистине золотые, и аромат просто ошеломляющий. Едва ли не единственное благо этой страны – роскошные цветы. Надеюсь, вы любите садоводство? Наше здешнее величайшее утешение.

– О, я просто обожаю садоводство, – сказала девушка.

Они вошли на веранду. Ко Сла, поспешно нарядившись в эйнджи и лучший свой розовый шелковый гаунбаун, вынес поднос с графином джина, стаканами и пачкой сигарет. Метнув быстрый, зоркий взгляд на девушку, он смиренно сложил ладони и низко поклонился.

– Угощать вас поутру джином, я полагаю, неуместно? – сказал Флори. – Мне никогда не толковать слугам, что некоторые способны дожить до завтрака без спиртного.

Наглядно причастный к этим «некоторым», Флори отверг предложенный Ко Сла стакан и знаком приказал слуге придвинуть стул к краю веранды. Девушка села. Воздух наполнился теплым медовым благоуханием завесивших проем золотистых, с темными листьями орхидей. Флори, прислонясь к перилам и поворотом головы пряча левую щеку в тень, стал рядом с девушкой.

– Вид от вас совершенно божественный, – сказала она.

– Не правда ли? Великолепно, в этом мягком свете, пока солнце не слишком поднялось, и могоары малиновыми шапками по бронзовому плацу, а холмы у горизонта почти черные. Мой лесной лагерь по ту сторону холмов.

Девушка, страдавшая дальновзоркостью, сняла очки, чтобы взглянуть вдаль. Глаза у нее были ясные, светло-голубые, светлее полевых колокольчиков. Еще он заметил изумительно гладкую кожу возле глаз, гладкую, как лепесток, что вновь напомнило ему о собственных морщинах и заставило чуть-чуть отодвинуться. И все же он порывисто воскликнул:

– Какое счастье – ваше появление в Кьяктаде! Вы не представляете, что для нас новое лицо. Месяцами толчемся в своем крайне скудном обществе, лишь иногда мелькнет заезжий чиновник или очередной турист-американец с фотокамерой – пощелкать с моста волны Иравади. Вы, вероятно, прямо из Англии?

– О, не совсем. Перед приездом сюда я жила в Париже. С матерью, она там живописью занималась.

– Париж?! Вы жили в самом настоящем Париже? Бог мой, немыслимо – из Парижа в Кьяктаду! Знаете, в такой дыре даже трудно поверить, что Париж существует.

– Вам нравится Париж?

– Никогда и близко не бывал. Но мне видится, разом видится все это – кафе, бульвары, ателье художников, Вийон, Бодлер, Мопассан! Вам не представить, как на краю света звучат сами названия европейских городов. Так вы действительно жили в Париже? Посиживали вечером в кафе с художниками-иностранцами, тянули белое вино и рассуждали о Марселе Прусте?

– Ну, вроде того, – смеясь, ответила девушка.

– Здесь ничего похожего! Здесь вам ни белого вина, ни Пруста, лишь виски и Эдгар Уоллес. Но если захотите почитать что-то любимое, возможно, отыщете у меня. В клубной читальне одна макулатура. Конечно, я безнадежно отстал с моей библиотекой. Вы-то наверняка перечитали все на свете.

– О, нет-нет. Хотя я, конечно, обожаю читать.

– Редкая удача встретить кого-то, кому интересны книги. То есть литература, а не хлам на клубных полках. Надеюсь, вы простите мою болтливость. При встрече с человеком, осведомленным о существовании поэзии и прозы, меня распирает, как бутылку теплого пива. Пожалуйста, будьте снисходительны к естественному греху захолустья.

– Что вы, я люблю разговор о книгах. По-моему, чтение – это замечательно. Разве можно без этого? Это, это...

– Душевное прибежище, да? Абсолютно точно. Вот, например...

Завязалась долгая горячая беседа, сначала о книгах, потом об охоте, которая явно интересовала девушку и о которой она настойчиво просила рассказать. Особенно ее взволновал эпизод с застреленным Флори несколько лет назад слоном. Флори не замечал, видимо, и девушка не замечала, что говорит, по сути, только он. Его захлестывало счастье высказаться. А она была в настроении слушать. В конце концов, он спас ее от этих жутких буйволов, явившись перед ней почти героем. (Когда нас в этой жизни награждают доверием и благодарностью, благодарят обычно именно за то, чего мы уж никак не заслужили.) Беседа текла так легко, что могла длиться бесконечно, но вдруг гармония пропала. Собеседники умолкли на полуслове, заметив, что они больше не одни.

С другого конца веранды, сквозь перила, на них жадно глазело угольно-черное усатое лицо. Принадлежало оно старому Сэмми, «ученому» повару. Сзади толпились Ма Пью, Ма Йи, четверо старших детей Ко Сла, неведомо чей голый карапуз и две приковылявшие из деревни любопытные старухи. Одеревенев резными идолами с воткнутыми в плоские лица длинными толстыми сигарами, парочка престарелых бирманок пялилась на «английку», словно британский пахарь на зулуса в полной боевой раскраске.

– Эти люди... – с запинкой произнесла девушка.

Обнаруженный, Сэмми, виновато потупившись, принялся поправлять на голове узел пагри²⁹. Несколько оробела и остальная часть аудитории, за исключением идолоподобных старух.

– К черту их! – расстроено буркнул Флори. Вряд ли девушка теперь задержится.

Одновременно ему и его гостье вспомнилось, что они совершенные незнакомцы. Слегка порозовев, девушка надела очки.

– Вы уж простите, – сказал Флори, – для них молодая англичанка – диво дивное, явились поглазеть без всяких дурных намерений. Вон отсюда! – сердито махнул он рукой на зрителей, которые вмиг исчезли.

– Пожалуй, мне пора идти, – поднялась девушка, – я так надолго пропала, обо мне, наверное, уже забеспокоились.

– В самом деле пора? Ведь еще рано, и нельзя же отпустить вас под это солнце с непокрытой головой.

– Но мне действительно...

Гостья не договорила, увидев новый персонаж. На пороге спальни стояла Ма Хла Мэй. Вызывающе подбоченясь, она, пришедшая изнутри дома, всем своим видом утверждала право здесь находиться.

Девушки замерли лицом к лицу. Контраст был просто поразительным: одна бледных оттенков цветущей яблони – другая в резких тонах, от яркого металлического блеска черных волос до глянца пунцового лонджи. Прежде Флори не замечал, как смугла кожа Ма Хла Мэй, как экзотически чужеземна ее миниатюрная фигурка, крепкий ровный столбик которой нарушался единственным изгибом точеных бедер. Почти минуту, позабыв о наблюдавшем за ними хозяине дома, девушки не могли оторвать глаз друг от друга, и неизвестно, кто кому показался более странным и причудливым. Затем взгляд Ма Хла Мэй обратился к Флори, тонкие ниточки бровей мрачно сдвинулись неммым вопросом «кто эта женщина?».

Небрежно, будто отдавая распоряжение по хозяйству, Флори проговорил по-бирмански:

– Сейчас же уходи. Начнешь скандалить, возьму палку и все кости тебе переломаю.

Ма Хла Мэй, поколебавшись, дернула плечиком и вышла. Глядя ей вслед, гостья спросила с любопытством:

– Это мужчина или женщина?

– Женщина, – ответил Флори, – жена одного из слуг. Приходила уточнить насчет стирки.

– Ах, значит они *такие*? Забавные! В поезде этих малышей было полным-полно, но знаете, я принимала их за мальчиков. Совсем как голландские куклы, правда?

Утратив интерес к бирманке, едва та скрылась с глаз, гостья направилась к выходу. Флори не пытался ее удерживать, подозревая, что Ма Хла Мэй вполне способна вернуться и устроить сцену. Впрочем, большой беды бы не случилось, ибо обе красавицы не знали ни слова на языках друг друга. Вызванный Ко Сла явился с зонтом из промасленного шелка на бамбуковых ребрах и, раскрыв его над головой девушки, почтительно устремился за ней. Флори проводил

²⁹ Пагри – намотанный на голову индийский тюрбан (*англо-инд.*). Персонаж в пагри – косвенное указание, что это не бирманец, а индус или мусульманин.

их до ворот. Задача скрыть родимое пятно на ярком солнце заставила слегка отвернуть лицо при прощальном рукопожатии.

– Мой адъютант вам обеспечит благополучное возвращение домой. Вы были необыкновенно добры, зайдя ко мне. Не могу выразить, как я рад нашей встрече. С вами тут все станет иначе.

– До свидания, мистер... Вот смешно! Даже не знаю вашего имени.

– Флори, Джон Флори. А вы – мисс Лакерстин, не так ли?

– Да, Элизабет. До свидания, мистер Флори. Еще раз спасибо. Жуткие буйволы! Вы просто спасли мне жизнь.

– Не о чем говорить. Надеюсь, я увижу вас вечером в клубе? Ваши дядюшка с тетушкой наверняка придут. Так что до скорого свидания!

Стоя в воротах, он смотрел ей вслед. Элизабет – красивое, редкое теперь имя! У нее оно, должно быть, и пишется на старинный манер. Ко Сла комично семенил позади барышни, стараясь держать зонт над самой ее головой, а собственную фигуру как можно дальше. По холму вдруг пронесся свежий ветерок. Дуновения невесть откуда налетающей прохлады случаются иногда в Бирме, вызывая грусть и тоску о морских просторах, объятиях русалок, водопадах и снежных гротах. Ветер прошелестел сквозь густые кроны могоаров, подхватил, разметал клочки брошенной полчасу назад за ворота анонимки.

7

Лежа в гостиной на диване, Элизабет читала роман Майкла Арлена «Милашки». Этого писателя, надо сказать, она любила больше всех, хотя в разряде «серьезных» авторов готова была признать первенство Уильяма Локка³⁰.

Гостиная – оштукатуренная комната с окрашенными в светлый тон стенами почти метровой толщины – была прохладной и смотрелась бы просторной, если бы не нагромождение столиков, уставленных продукцией бенаресских³¹ чеканщиков. Пахло ситцевой обивкой и увядшим букетом. Миссис Лакерстин находилась наверху, она спала. Слуги тоже затихли по своим конуркам, уронив отяжелевшие от дневного сна головы на деревянные валики-подушки. Спал сейчас, вероятно, у себя в тесном дощатом офисе и мистер Лакерстин. Бодрствовали лишь Элизабет и чокра, сидевший за стеной спальни миссис Лакерстин, качавший опахало продетой в петлю веревки босой ступней.

Элизабет, которой недавно исполнилось двадцать два, была сиротой. Отец ее, не такой пьяница, как его брат Том, но экземпляр той же породы, занимался чайным брокерством и, несмотря на шаткую основу своей коммерции, по врожденному чрезмерному оптимизму откладывать деньги не заботился. Мать Элизабет, особа самовлюбленная и скудоумная, твердо уклоняясь от каких-либо прозаических обязанностей под предлогом сверхтонкой чувствительности, после нескольких лет возни с играми в Женские Права и Высший Разум, после многократных провальных опытов на поприще литературы прибилась наконец к живописи (единственный вид искусства, где есть возможность творить без таланта или особых усилий). Роль артистки, гонимой «мещанами», среди которых числился, разумеется, и супруг, дарила святое право власть тешить свою назойливую дурь.

В последний год войны увильнувшему от армии отцу Элизабет удалось неплохо разжиться. Был куплен новый, довольно мрачный особняк в Хайгете, полном оранжерей, конюшен и теннисных кортов. Была нанята орда слуг, безудержный оптимизм главы семейства простерся даже до найма дворецкого. Дочь была отправлена в дорогой частный пансион. О счастье, райское блаженство тех двух семестров! Четыре ученицы – «аристократки», и почти у всех девочек собственные пони, на которых позволялось выезжать по субботам после завтрака. В каждой жизни случается краткий период, когда четко и навсегда оформляется человеческий характер. Для Элизабет им стал тот год, когда она, потершись среди богачек, усвоила ясный, весьма несложный взгляд на мир: хорошо (в ее устах «дивно») – это роскошь, шик, аристократизм, а плохо («свински») – это бедность и добывание грошей своим потом. Возможно, именно таков главнейший воспитательный курс дорогих закрытых школ. С годами кредо Элизабет укреплялось, абсолютно все, от пары туфель до душевных переживаний, воспринималось либо «дивным», либо «свинским». Увы, вследствие отцовских финансовых неурядиц преобладало «свинское».

Неизбежный крах наступил в 1919-м. Элизабет забрали из дорогого заведения, учебу она продолжала в дешевых «свинских» школах, а месяцами из-за невнесенной платы вообще сидела дома. Ей исполнилось двадцать, когда отец ее умер от гриппа. Вдове достались лишь полторы сотни фунтов пожизненной годовой ренты. Устроиться вдвоем с дочерью на столь мизерные средства артистическая дама не умела и переехала в Париж (где быт дешевле), дабы всецело посвятить себя искусству.

³⁰ Упоминаются сочинители популярной беллетристики отнюдь не высшего качества.

³¹ Бенарес – город на северо-западе Индии, прославленный центр браминской учености и великолепных ремесел.

Париж! Житье в Париже! Флори не совсем точно вообразил картину интеллектуальных бесед с богемными бородачами под зеленью платанов. Стиль парижского существования Элизабет был иным.

Мать, сняв ателье на Монпарнасе и мгновенно влившись в сословие бестолковых жалких бездарей, так глупо распоряжалась деньгами, что для Элизабет настали полуголодные дни. Пришлось найти работу – уроки английского в семье директора банка, где ее называли «*наша мизс англез*». Семейство это проживало в двенадцатом округе, далеко от Монпарнаса, что вынудило поселиться в ближайшем к месту заработка пансионе – затиснутом меж переулков узком облезлом строении окнами на мясную лавку с гирляндой развешенных снаружи кабаньих туш, которые по утрам долго и сладострастно обнюхивались старцами покупателями, и на дверь забегаловки под вывеской «Приют друзей. Сногшибательное пиво». Как она ненавидела тот пансион! Хозяйку, старую мерзавку в черном платье, вечно шнырявшую на цыпочках с надеждой уличить стирку чулок в умывальном тазу. И квартиранток, тошнотворных, прокисших вдов, настырно, словно воробы горбушку, осаждавших единственного постояльца мужского пола (кроткое плешивое существо из службы «Добрых самаритян»), а за столом ревнивым глазом измерявших каждый кусок в чужой тарелке. И ванную – облезлую берлогу, где ветхий позеленевший душ, выплюнув пару литров чуть теплой воды, наотрез отказывался действовать. Банкир, чьих отпрысков взялась учить Элизабет, был господином весьма немолодым, с жирными отекавшими щеками и желтым, голым, как яйцо страуса, черепом. Уже на второй день он, явившись среди урока в детскую, уселся рядом и тут же щипнул Элизабет за локоть, на третий день – за икру, на четвертый – под коленом, на пятый – выше колена. И затем ежедневно вечерами под столом шло беззвучное сражение ее бдительно напряженной руки с его хищной, проворной лапой.

Существование опустилось до невероятной, просто невозможной степени «свинства». Но что особенно терзало и унижало Элизабет, так это материнская мастерская. Принадлежа к разновидности дам, не способных жить без прислуги, мать суетливо, с одинаково бесплодным результатом металась между живописью и хозяйством. Нерегулярно посещала «студию», где под руководством мэтра – новатора, чей стильный метод основывался на грязных кистях, – мусолила мутноватые натюрморты, а дома слонялась среди закопченных чайников и сковородок. Вид материнского жилища более чем угнетал, он виделся Элизабет воплощением зла, мерзостью сатанинской – затхлый, пыльный свинарник, пол завален книжками и журналами, кучи сальных кастрюль на ржавой газовой плите, не убиравшаяся до полудня постель и всюду под ногами либо банки смывавшей краску скипидарной жижи, либо плошки с холодной чайной заваркой. Едва переступив порог, Элизабет вскипала:

– Ну мама, миленькая, *как* так можно? Ты оглянись вокруг, это же ужас!

– Ужас, дорогуша? А что? Выглядит неопрятно?

– Неопратно! О, мама, разве обязательно ставить блюдо с овсянкой на кровать? И вся эта грязь. Кошмар, стыд какой! Представь, что кто-нибудь войдет.

Взгляд матери при малейшем намеке на необходимость ее трудовых действий устремлялся в дали иных миров.

– *Моим* братьям, дорогуша, не до того. Мы ведь художники – богема! Людям не понять, как нас захватывает творчество. Ты, дорогуша, не наделена душой артиста.

– Надо хоть пару кастрюль вымыть. С ума меня сведет твое жилье. Куда делась посудная мочалка?

– Мочалка? Дай подумать, совсем недавно она мне попадалась. Ах да! Я ею оттирала мою палитру. Ничего страшного, пополощи сначала в скипидаре.

И пока Элизабет мыла и подметала, мать садилась марать бумагу угольным грифелем.

– Какая ты прелесть, дорогуша. Ты изумительно практична! В кого бы это? А я! Я *вся* в искусстве. Внутри какой-то океан, поглотивший мелочи жизни. Вчера я за обедом придумала

вместо посуды использовать «Новый журнал». О, гениально! Хочешь чистую тарелку – просто срываешь грязную страницу и...

Друзей в Париже у Элизабет не завелось. Компанию матери составляли дамы того же пошиба или пожилые, невзрачные и небогатые холостяки, увлеченные изящными ремеслами вроде резьбы по дереву и росписи кувшинов. Из прочих рядом были только иностранцы, а всех их (по крайней мере окружавших ее, дурно одетых, не умевших держаться за столом) Элизабет презирала. Оставалась одна отрада – иллюстрированные журналы в Американской читальне на рю Делизе. Она просиживала там часами: устраивалась у окна и мечтала, листая «Болтуна», «Осколки», «Модный силуэт», «Театр и спорт».

Не фотографии – картины рая! «Встреча. Гончие на лужайке Чарльтон-холла, прелестного уорикширского поместья лорда Барроудена». «В парке. Миссис Тайк-Боулби со своим догом Кубла Ханом, чемпионом летней выставки в Крафте». «На пляже в Каннах. Слева направо: мисс Барбара Пилбрик, сэр Эдвард Тук, леди Памела Уэстроп, капитан *Tanni* Бенакр».

Дивный, дивный мир! Дважды встретились лица соучениц по шикарной школе, и сердце ее сжималось. У бывших подружек все: лошади, автомобили, мужа в мундирах придворного конногвардейского полка, а она тут, прикованная к жуткой поденщине, жуткому пансиону и жуткой матери! Но неужели нет спасения? Нет надежды вновь вернуться к благопристойной жизни?

Вполне естественно, что подле своей матери Элизабет прониклась здоровым чувством отвращения к искусству, а склонность слишком много рассуждать («умничать») обрела для нее значение явственного «свинства». Как подсказывало ей чутье, настоящие приличные люди – те, что охотятся с борзыми, ездят на скачки, плавают на яхтах, – не умничают, не занимаются всяким вздором художества и сочинительства, не разглагольствуют про гуманизм-социализм. «Умник» в лексиконе Элизабет стало словом ругательным. И нескольких все же мелькнувших вблизи поэтов, художников по призванию, променявших солидную службу на вольность в нищете, она презирала даже яростнее, чем убогих материнских мазилок. Отвергнуть все прекрасное и благородное ради невесть чего – грех, гадость, низость. Жутко остаться старой девой, но лучше, в миллион раз лучше замужества за таким типом!

На втором году проживания в Париже мать Элизабет внезапно скончалась от отравления трупным ядом. Странно, впрочем, что она не погибла по этой причине гораздо раньше. Элизабет осталась одна, с капиталом менее сотни фунтов. В сочувственной телеграмме из Бирмы брат отца и его супруга приглашали племянницу к себе, обещая прислать подробное письмо.

Сочинение этого письма заставило миссис Лакерстин провести немало времени, задумчиво склонив изящную змеиную головку и покусывая черенок пера.

– Мы, разумеется, обязаны приютить ее хотя бы на год. Боже, сколько забот! Однако девушки, если уж не совсем дурнушки, обычно успевают за год найти себе мужей. Но как же написать об этом, Том?

– Да прямо напиши, что тут ей проще подцепить чертова муженька. Чего еще?

– О, дорогой, ну что ты говоришь!

И миссис Лакерстин написала:

«Городок у нас, разумеется, маленький, к тому же по долгу службы мы часто уезжаем в джунгли. Боюсь, здесь может показаться скучно после всех, несомненно, изумительных парижских развлечений. Но неким образом и наша глушь благоприятна для юных леди, которых тут буквально боготворят. Наши джентльмены столь одиноки, они чрезвычайно ценят общество милых соотечественниц...»

Элизабет на тридцать фунтов накупила летних нарядов и немедленно отбыла.

Через Ла-Манш судно со свитой резвящихся дельфинов вышло в открытое море, а из лазурных морских вод – на изумрудные просторы Индийского океана. Корпус лайнера, разрезая волны, поднимал стаи пугливых летающих рыб, ночами океан фосфоресцировал и корабельный нос светился зеленой огненной стрелой. Элизабет «обожала» жизнь на борту. Обожаала танцы по вечерам, коктейли, которыми ее наперебой угощали, очаровательные игры, от которых, правда, она несколько уставала, причем всегда как-то одновременно с прочей веселившейся молодежью. Совсем недавняя кончина матери даже не вспоминалась. Во-первых, Элизабет никогда не питала к родительнице особо нежных чувств, а во-вторых, здесь ведь никто не знал о ее прошлом. И это было так чудесно – после двух лет постыдного, убогого существования упиваться расточительным светским шиком (не то чтобы все пассажиры действительно являлись богачами, но пароход обязывает проявлять привычку к роскоши). Она уже заранее любила Индию, которая ей очень ясно представлялась по рассказам новых знакомцев, даже выучила ряд самых необходимых туземных слов: чал (поезжай), джалди (быстро), сахиб-лог (господа) и т.п. Ей уже не терпелось окунуться в атмосферу клубов, где веют опахала и неслышно снуют почтительные слуги в белых тюрбанах, а неподалеку, на армейских плацах, элегантно галопируют играющие в поло усатые загорелые офицеры. В общем, все почти как у настоящих аристократов.

По зеленым зеркальным волнам, на которых грелись змеи и черепахи, пароход вошел в порт Коломбо. Судно окружила флотилия сампанов с дочерна смуглыми гребцами, чьи орущие рты кроважально алели соком бетеля. Крича и отпихивая друг друга, они пробивались к спущенному трапу. Два гребца, сунувшись прямо в проход, завопили навстречу Элизабет:

- Не ходи с ним, мисси! Он плохой, не бери его!
- Не слушай, мисси! Это черный, подлый – всегда ложь говорит!
- Ха! Сам-то кто? Гляди-ка, мисси, какой белый! Ха-ха!

– Эй вы, молчать, сейчас обоим дам по шее! – прикрикнул муж подружки Элизабет по путешествию, плантатор. Сев в одну из парусных плоскодонок, они поплыли к солнечной пристани. Их лодочник, обернувшись к проигравшему конкуренту, послал в его сторону сочный, по-видимому, долго копившийся во рту плевок.

Земля Востока. С берега обдало густым зноем, дурманящим ароматом кокосов, сандала, имбиря и корицы. Друзья свозили Элизабет в курортное предместье Маунт-Лавиния, где они искупались в пенистой, как кока-кола, тепловатой воде. Спустя неделю пароход прибыл в Рангун.

Заправлявшийся дровами поезд на Мандалай медленно полз через иссохшую равнину с волнистой каймой дальних синих холмов. Дым паровоза стоял неподвижным белым султаном, багрово сверкали развешенные на веревках связки перца чили, порой почва, словно дыханием великана, плавно вздымалась горбами белевших пагод. Внезапно пала тропическая ночь. Поезд, пыхтя и сотрясаясь, тормозил у маленьких станций, из темноты неслись дикие крики; сновавшие в отблесках фонарей полуголые мужчины с пучками высоко завязанных волос казались Элизабет чертями из преисподней. Потом состав еле-еле трясся сквозь лес, и невидимые ветки скреблись о стекла окон. До Кьяктады добрались около девяти. На станции ждали дядюшка, тетюшка, автомобиль мистера Макгрегора, а также слуги. Тетя, подойдя первой, коснулась плеч племянницы узкими вялыми руками и легонько чмокнула в щеку:

- О, полагаю, наша милая Элизабет? О, мы *так* рады.

Дядя, при свете фонаря изучавший гостью через плечо жены, присвистнул: «Недурна, будь я проклят!» После чего крепко обнял и тоже – с несколько излишним пылом, как отметила Элизабет, – расцеловал ее. Родственники эти увиделись впервые.

После ужина, когда дядя вышел в сад «глотнуть воздуха» (точнее, за домом приложиться к бутылке, доставленной верным слугой), тетюшка с племянницей остались под колышущимся опахалом наедине.

– Выглядишь дивно, дорогая! Дай-ка еще раз на тебя взгляну. – Тетя взяла Элизабет за плечи. – Стрижка «под мальчика» действительно тебе идет. Парижский фасон?

– Да, большинство парижанок сейчас со стрижкой: это мило, если, конечно, голова не слишком крупная.

– Дивно! И очки в черепаховой оправе – так элегантно! Говорят, в Южной Америке все кокетки теперь их носят. Оказывается, у меня племянница просто *прелесть*! Напомни, дорогая, сколько тебе исполнилось?

– Двадцать два.

– Двадцать два! Как завтра в клубе будут очарованы наши джентльмены! Бедняжкам редко выпадает счастье полюбоваться новым личиком. Значит, ты прожила в Париже целых два года? Невероятно, что парижские женихи не сумели завоевать столь восхитительную девушку!

– Мне, тетя, практически не доводилось видеть мужчин. Одних иностранцев. Мы вынуждены были жить очень скромно... Я работала, – тихо, стыдливо добавила Элизабет.

– Ах, да-да, – со вздохом кивнула миссис Лакерстин. – Тяжкие времена! Барышням самим приходится зарабатывать на жизнь. Позор! Разве это не возмутительный эгоизм мужчин, гуляющих холостяками, когда вокруг *множество* одиноких бедных девушек?

Элизабет не ответила, и тетя, снова вздохнув, продолжила:

– Будь я в наши дни барышней, я бы, признаюсь, вышла за любого, буквально за *любого*!

Женщины встретились глазами. Приверженность деликатному стилю обиняков и околичностей отнюдь не мешала миссис Лакерстин высказываться ясно и до конца. Непринужденно развивая легкую светскую беседу, она сказала:

– Конечно, всякое бывает. *Бывает*, девушкам не удастся выйти замуж *по собственной вине*. Такое даже здесь случается. Вот, например, совсем недавний эпизод. Приехавшая сюда барышня целый год жила в доме брата и получила предложения от всех местных офицеров, инспекторов и весьма перспективных торговых служащих. И всем дала отказ (рассчитывала, как говорили, на кого-нибудь из генштаба). И что же? Брат, разумеется, не мог содержать ее вечно. Теперь, говорят, несчастная стала помощницей старой леди, фактически – *служанкой*. За жалованье в пятнадцать шиллингов! Представить страшно!

– Страшно! – эхом откликнулась Элизабет.

Больше на эту тему не было сказано ни слова.

Наутро за завтраком – со свежим букетом на столе, веявшим над головой опухолью, с вытянувшимся позади стула миссис Лакерстин смуглым долговым лакеем в белой куртке и мусульманской чалме – Элизабет рассказывала о только что пережитом приключении:

– Да, и еще, тетя, так интересно! На веранду приходила бирманская малышка – вы представляете, я даже не отличала их от мальчиков? Желтенькая, вся как забавная куколка, лет семнадцати, наверно. Мистер Флори сказал, что это его прачка.

Хорошо понимавший по-английски индийский лакей-магометанин вздрогнул, скосив на барышню яркий круглый глаз. Мистер Лакерстин застыл, не донеся до рта вилку с куском рыбы.

– «Прачка»? – воззрился он. – Какая еще к черту «прачка»? В этой стране нам стирают только мужчины. Сдается мне...

И смолк внезапно, будто ему надавили на ногу под столом.

8

К вечеру Флори послал за индийским брадобреем, скоблившим щетину соплеменникам по тарифу восемь ан в месяц – через день, а также, ввиду отсутствия конкурентов, обслуживавшим европейцев. Вернувшись с тенниса, лично прокипятив и сбрызнув одеколоном ножницы ожидавшего цирюльника, Флори подстригся.

– Достань мой выходной костюм, шелковую рубашку и лайковые туфли, – приказал он Ко Сла. – И галстук тот, новый!

– Сделал, тхэкин, – поклонился слуга, подразумевая, что все будет исполнено.

В спальне, кроме разложенной одежды, Флори нашел и самого камердинера, несколько надутого и недовольного – явно осведомленного о том, для чего (для кого!) это щегольство.

– Что тебе? – буркнул Флори.

– Помогать одевать, тхэкин.

– Без тебя обойдусь, иди.

Намереваясь еще раз побриться, Флори не хотел брать помазок и бритву при слуге. Давненько он не брился дважды в день! Но как вовремя прибыл выписанный из Рангуна новый галстук! Одевался Флори очень тщательно и чуть не четверть часа приглаживал щеткой волосы, всегда плохо лежавшие после стрижки.

А потом – казалось, минуты не пролетело – он уже шел рядом, вдвоем с Элизабет. Все получилось стремительно: увидев девушку в клубной читальне, он с неожиданной отвагой предложил ей пройтись, и она тут же, даже не зайдя в салон предупредить дядю с тетей (вновь удивив Флори, ощутившего себя безнадежно отсталым провинциалом), согласилась. На дороге к базару под деревьями стоял густой мрак, листва почти скрывала свет луны, зато мерцавшие меж ветвей ясные крупные звезды сияли, будто лампы невидимых фонарей. Накатывали волны запахов: то приторный душноватый аромат жасмина, то едкое зловоние мочи и гнили от хижин против дома доктора Верасвами. Послышался рокот барабанов.

Флори вспомнил, что нынче ночью недалеко, возле жилища У По Кина, разыгрывают пвэ³² (организованное, кстати, самим У По Кином, хотя, разумеется, за чужой счет). Возникла смелая идея позвать туда Элизабет – ей может, ей должно, понравиться! Всякая зрячая душа это оценит! В клубе их долгое отсутствие, конечно, вызовет шок. И что? Пошли они! Она-то не из них! И вместе, вместе с ней любоваться удивительным представлением! В этот миг грянул хор визжащих, хрипящих труб, шелкающих трещоток, глухо стучащих барабанов и взвился невероятно пронзительный голос.

– Что такое? – остановилась Элизабет. – Джаз-бэнд, да?

– Народная музыка бирманцев. Увертюра к их пвэ – чему-то среднему между исторической драмой и ревью. Вам, я думаю, будет интересно. Это рядом, только повернуть.

– О-о, – неуверенно протянула Элизабет.

За поворотом стало светло от горевших огней. Дорога ярдов на тридцать была запружена толпой сидящей публики; в глубине высился освещенный шипящими керосиновыми лампами помост, перед которым дудел-гремел оркестр. На помосте пластично двигались двое мужчин с кривыми блестящими мечами, в костюмах, напомнивших Элизабет о китайских пагодах. Масса зрителей колыхалась морем обтянутых белым муслином женских спин, розовых шарфов и черных глянцевых причесок. Кое-кто из публики, свернувшись на циновке, крепко

³² Пвэ – старинное, доныне самое популярное в Бирме своеобразное шоу, длящееся нередко всю ночь и включающее элементы пения, танца, пантомимы, комедии и драмы. Представление сопровождается национальной музыкой, оркестр в основном использует ударные инструменты (барабаны, гонги), а также арфы и бамбуковые флейты. Стиль танцевальной пластики артистов унаследован от древнего бирманского театра марионеток.

спал. Протискиваясь сквозь толпу, старый китаец с подносом арахиса заунывно выкрикивал: «Мьяпе! Мьяпе!».

– Постоим, минутку посмотрим, если вы не против? – сказал Флори.

Огни и адский шум ошеломили Элизабет, но больше всего ее поразила толпа, вольготно превратившая дорогу в театральный партер.

– У них спектакли всегда посреди шоссе? – спросила она.

– Как правило. Наскоро сколачивают помост, а утром разбирают. Зрелище длится всю ночь.

– Но разве им *позволено* перекрывать проезд?

– Позволено. Тут ведь нет правил транспортного движения. За неимением, так сказать, объекта регулирования.

Ответ крайне удивил ее. Тем временем чуть не вся аудитория развернулась поглазеть на «английку». Восседавший в центре толпы, где имелось несколько стульев для важных персон, У По Кин тоже кое-как повернул свою слоновью тушу, чтобы приветствовать европейцев. В ближайшем антракте посланный к белым тщедушный Ба Тайк, кланяясь до земли, робко пробормотал:

– Хозяин спрашивает, не желают ли наисвятейший господин и молодая белая леди немного посмотреть наш пвэ? Для вас приготовлены стулья.

– Нас с вами приглашают в ложу, – перевел Флори слова туземца. – Не возражаете? Те два суровых парня сейчас покинут сцену, и начнется весьма занятная хореография. Вы не соскучились? Потерпите еще чуть-чуть?

Элизабет переполняли сомнения. Необходимость пробираться сквозь сборище чрезвычайно пахучих туземцев смущала и даже пугала. Однако, доверившись Флори, знавшему, надо полагать, правила местных приличий, она согласилась провести себя к стульям. Туземцы, раздвигаясь, тарасились им вслед и громко тараторили, голени ее на ходу то и дело касались обернутых муслином жарких, крепко шибавших потом тел.

У По Кин, с низжайшим для его комплекции поклоном, прогнусавил навстречу:

– Добрый вечер, мадам! Счастлив познакомиться, окажите честь, присаживайтесь. Здравствуйте, мистер Флори! Какой сюрприз, сэр! Знай мы, что вы почтете нас своим визитом, мы приготовили бы виски и прочий европейский лимонад. Кха-ха-ха!

Оскаленные в улыбке, красные от бетеля зубы сверкнули алой фольгой. Разбухший урод был так ужасен, так противен, что Элизабет невольно отшатнулась. Худенький подросток в пурпурном лонджи склонился перед ней, предлагая стакан замороженного шербета. У По Кин хлопнул в ладоши, кликнул другого парнишку: «Хэй хонг галай!» – и, приказав что-то, толкнул его к помосту.

– Велел в вашу честь немедленно выпустить их лучшую балерину, – пояснил Флори. – Смотрите, вот она.

Девушка, что, покуривая, сидела на корточках в глубине помоста, вышла на освещенную авансцену. Очень юная, тоненькая, плоскогрудая, в длинном, до полу, голубом атласном лонджи с пышно, по старинной моде, завернутыми выше бедер краями эйнджи, она небрежно кинула свою сигару одному из оркестрантов и вытянула руку. Рука затрепетала бегущей змейкой.

Оркестр грохнул во всю мочь. Там были и дудки типа волюнок, и странный инструмент из бамбуковых дощечек, по которым музыкант бил молоточком, и дюжина разнокалиберных узких барабанов, с которыми управлялся один виртуоз, успевавший основанием ладони колотить едва ли не по всем сразу. Через мгновение начался танец. Сначала даже не танец, а ритмичные кивки, наклоны, повороты. Шея и предплечья, волнообразно изгибаясь, качались безостановочно, точно заводные, однако необычайно плавно. Змеящиеся руки с головками согнутых, плотно сомкнутых пальцев постепенно поднялись и раскинулись. Ритм участился.

Танцорка начала прыгать из стороны в сторону, приземляясь в неких глубоких реверансах и вновь взлетая с изумительной, почти невероятной при туго стянутых атласным лонджи ногах легкостью. Затем она продолжила свой танец в очень причудливой позе: как бы присев на согнутых коленях, наклонившись вперед, простирая выющиеся руки и быстро-быстро, энергично кивая головой. Оркестр кульминационно загремел. Вскочив и вытянувшись, танцорка закружилась так стремительно, что фалды завернутого эйнджи распластались венчиком подснежника. Музыка стихла так же резко, как началась, и девушка упала в последнем реверансе, под хриплый, восторженный рев публики.

Элизабет наблюдала танец со смесью удивления и чего-то близкого к ужасу. Шербет в ее стакане отдавал помадой для волос. Уснувшие на циновке подле самых ее ног три юные желтолицые бирманки свернулись кучкой скуластых котят. Под грохот оркестра Флори непрерывно бубнил ей на ухо свои комментарии к танцу:

– Я знал, что вам понравится, что вы оцените. Вы из мира культуры, не похожи на здешних наших жалких невежд! Разве это не стоит посмотреть? Обратите внимание на характер движений – наклоны странной марионетки, а руки, словно кобры, готовые напасть. Гротеск и даже страшновато, однако таков замысел, это искусство. Нечто намеренно зловещее! Что ж, азиаты с дьяволом накоротке. Но какая архаика, какая подлинность древней культуры! Жесты оттачивались, сохранялись тысячелетиями. Пластика Востока всякий раз заставляет ощутить, как бесконечно глубоки корни искусства, уходящие и уходящие в прошлое до самых тех времен, когда мы еще облачались в шкуры. Неким образом, сложно выразить, но вся история, весь дух Бирмы в извивах этих немисливо гибких рук. Смотришь танец и видишь рисовые поля, деревни под баньянами, пагоды, монахов в желтых рясах, купающихся на рассвете буйволов, старинные дворцы...

Он не договорил, поскольку музыка внезапно оборвалась. Особенно острые впечатления, в частности, танцы пвэ, вечно толкали его к излишней говорливости. (Досадно, глупо! Разливался, как в романах, причем посредственных!) Флори замолчал. Элизабет все это время слушала его с корящим чувством недоумения. Она не очень поняла, о чем он толковал, но ненавистное «искусство» мелькнуло пару раз вполне отчетливо. Впервые ей подумалось, что отправиться на прогулку вдвоем с практически неизвестным джентльменом было, пожалуй, неблагоприятно. Она огляделась: вокруг причудливо и как-то жутковато переливалась масса лоснящихся резкими бликами смуглых лиц. Зачем она здесь? Зачем сидит среди чернокожих, задыхаясь от их запаха чеснока и пота? Почему они не остались в своем клубе, отправились посмотреть на это дикое туземное кривляние?

Оркестр вновь заиграл, и солистка пвэ начала новый танец. Лицо ее теперь было густо напудрено, глаза мерцали, как сквозь гипсовую маску, и вся она, с этим мертвым лицом, со странными марионеточными жестами, казалась каким-то зловещим демоном. Музыканты сменили темп, и девушка звонко запела. Мелодия быстрых, резких выкриков звучала и весело, и свирепо. Толпа подхватила песню, вторя припеву сотней хриплых голосов. Тогда, причудливо нагнувшись, артистка стала ритмично поворачиваться, пока не оказалась спиной к публике. Руки по-прежнему извивались, тело раскачивалось, узкая атласная юбка серебром переливалась на вихляющих оттопыренных бедрах. И наконец дерзкий, повергающий в изумление трюк – в такт музыке девушка принялась очень рельефно вращать то правой, то левой ягодичей.

Обрушились аплодисменты. Три спавшие под ногами на циновке юные бирманки проснулись и тоже бешено захлопали. Рядом некий клерк в жажде угодить европейцам гнусаво заорал: «Браво! Браво!» У По Кин шикнул на него: он-то насквозь видел английских леди. Элизабет, однако, уже вскочила.

– Мне пора, я ухожу, – отрывисто проговорила она.

Глаза ее смотрели вниз, но щеки пылали, и Флори встревоженно поднялся.

– Как? Прямо сейчас? Время, конечно, позднее, но ведь они специально ради вас, нарушив порядок зрелища, сразу же выпустили свою примадонну. Еще совсем недолго?

– Не могу, я давным-давно должна была вернуться. Дядя с тетей подумают бог знает *что*!

Она поспешно стала пробираться сквозь толпу, Флори последовал за ней, даже не успев извиниться перед организаторами пвэ. Бирманцы хмуро расступались – только наглые англичане способны все перевернуть, немедленно потребовав лучшую танцовщицу, и в разгар ее выступления уйти! После ухода белых поднялся страшный шум, ибо солистка отказалась танцевать, а публика требовала продолжения. Лишь парочка выскочивших на сцену шутов, стрелявших хлопушками и сыпавших солеными остротами, восстановила мир.

Флори понуро топал за быстро шагавшей, плотно сжавшей губы Элизабет. Что с ней? Было же так чудесно! Он попытался оправдаться:

– Простите, у меня и в мыслях не было вас как-то...

– Ничего. За что вы извиняетесь? Пора вернуться, вот и все.

– Да, я не подумал. Живя здесь, многого уже не замечаешь. Но, знаете, в народе правила приличий несколько отличны от наших, более строгих и, если угодно...

– Дело не в том! Совсем не в том! – срываясь на крик, воскликнула она.

От слов, понял он, только хуже. Дальше шли в полной тишине, она впереди, он сзади. Сердце его ныло. Чертов дурак, что наделал! Между тем об истинной причине гнева Элизабет Флори вообще не догадывался. Не танец оскорбил ее, бесстыдные телодвижения лишь прояснили непристойность самого желания находиться в толпе грязных, потных аборигенов. Им, белым людям! И эта его бессвязная речь, все эти книжные словечки! Говорил, словно стихи декламировал, точь-в-точь, как те, памятные по горькому парижскому житью, художники – нищие умники. А ведь сначала показался настоящим мужчиной. Тут перед ней воскресла сцена утреннего спасения от буйволов, и она несколько смягчилась. Когда дошли до клуба, негодование Элизабет почти рассеялось, а Флори набрался храбрости вновь раскрыть рот. Он остановился на дорожке, она тоже остановилась. В тени ветвей, просеивавших нежный свет звезд, лицо ее смутно белело.

– Я хотел... Я хотел спросить, вы еще сердитесь?

– Конечно, нет. Я же сказала.

– Зря я вас туда потащил. Пожалуйста, простите. И знаете, по-моему, вам лучше сказать, что просто выходили пройтись по саду или что-то в этом роде. Экскурсию белой барышни на пвэ сочтут сомнительной, вряд ли стоит рассказывать об этом.

– Я и не собираюсь! – с неожиданным лукавством ответила Элизабет.

И Флори почувствовал, что прощен, хотя так и не понял, за что именно.

Поход их решительно не удался; в клуб они, не сговариваясь, вошли отдельно. А в салоне царил атмосфера большого торжества. Местное европейское общество в полном составе ожидало прибытия Элизабет. У дверей, низко кланяясь и улыбаясь, двумя шеренгами встречали шестеро туземных слуг в парадных белых одеяниях, индус-буфетчик преподнес сплетенный чокрами для «мисси-сахиб» громадный венок. Мистер Макгрегор, представляя членов клуба, остроумно аттестовал каждого: Максвелла, например, как «нашего эксперта по дереву», Вестфилда – как «стража порядка и, мм, грозного сокрушителя разбойников» и т.д. Все очень смеялись. Хорошенькое личико привело джентльменов в столь приятное расположение духа, что они даже с удовольствием прослушали искрометный спич, над сочинением которого мистер Макгрегор, по правде говоря, трудился целый день.

Улучив момент, развеселившийся Эллис втащил Флори и Вестфилда в комнату для бриджа. Цепко, но вполне дружески держа Флори за локоть и хитро щурясь, начал допрос:

– Ну, братец, все тут тебя обыскались! Где ж ты шлялся?

– Да так, гулял.

– Гулял! А с кем это?

– С мисс Лакерстин.

– Ясное дело! Значит, это *ты* тот олух, который первым повис на крючке? Другие оглянуться не успели, а он уж хватать наживку! Я-то думал, ты у нас стреляный воробушек.

– В каком смысле?

– В каком! Малец невинный! В таком, что тетя Лакерстин уже назначила тебя в законные племянники. Если, конечно, не слиняешь вовремя. А, Вестфилд?

– Так точно, сэр. Парнишка холостой, подходящий. Созрел, как говорится, для супружества. Самое время подсечь.

– Что за бред, и с чего вы взяли? Девушка пока здесь меньше суток.

– Хватило же тебе, однако, чтобы прогуливаться с ней по саду. Ох, берегись! Том Лакерстин, может, и пьянь, да не такой болван, что согласится племянку навек себе на шею вешать. Да и *она* знает, с какого бока хлеб намазлен. Так что гляди, поосторожней суй башку в петлю!

– Иди к черту! Не смей так говорить о людях. Эта девушка, в конце концов, еще такое юное создание...

– Эх ты, ослище старый! – Обнаружив новый скандальный сюжет, Эллис почти нежно потрепал плечо Флори. – Не строй иллюзий, парень. Думаешь, легко охмурить эту милашку? У всех них одно на уме – завидишь кого в брюках, цапай да волоки к алтарю. Крепко нацелены. Зачем, по-твоему, она приехала?

– Ну, я не знаю. Захотела и приехала.

– Балда! Явилась мужа себе отловить. Известный номер! Коль уж девице никак не пристроиться, так катит в Индию, где джентльмены враз балдеют от беленькой шейки, – называется «индийский брачный рынок». Славненький такой мясной базарчик! Тоннами к нам везут это мясо для гнусных холостых старикашек вроде тебя. Товар отменный! Экспресс-доставка!

– Не устал еще пакости молоть?

– Баранинка с лучших английских пастбищ! Свежесть и сочность гарантируется!

Похотливо фыркая, Эллис изобразил выбор аппетитного куска мяса. Шуточка ему уже явно полюбилась, обещая надолго застрять в репертуаре; мараить женщин было его сладчайшим удовольствием.

С Элизабет Флори в тот вечер больше не разговаривал. Общество развлекалось шумной беседой ни о чем, он в этом жанре не блистал. Что же касается Элизабет, то, очутившись в приятной клубной атмосфере – в окружении белых лиц, дорогих сердцу глянцевого журналов и милых «восточных картин», – она окончательно пришла в себя после сомнительной авантюры с посещением дикарских плясок.

Когда в девять часов семейство Лакерстинов покинуло клуб, провожать их до дома отправился не Флори, а мистер Макгрегор. Среди фантастичных теней от причудливых форм тропической растительности он эскортировал Элизабет с грацией чрезвычайно куртуазного испанского ящера. Разумеется, барышне был предложен весь ассортимент анекдотов – каждого новичка мистер Макгрегор одаривал массой забавнейших историй, старожилам давно осточертевших и бесцеремонно прерывавшихся. Но Элизабет по натуре была отличным слушателем, так что глава округа отметил для себя редкостную интеллектуальность этой девушки.

Флори еще немного посидел в клубе за выпивкой. Подробно и смачно обсуждалась Элизабет. Распри насчет приема доктора Верасвами временно отложили. Составленное Эллисом гневное заявление тоже сняли с доски (державший курс беспристрастной справедливости, мистер Макгрегор настоял на его удалении). Протест, таким образом, был подавлен; впрочем, уже достигнув своей цели.

9

Следующие две недели были богаты на события.

Вражда между У По Кином и доктором Верасвами достигла бурной фазы. Население городка, от высших туземных чинов до последнего мусорщика, раскололось на две партии, и каждый был готов в нужный момент под присягой оболгать врагов. Партия доктора, однако, оказалась значительно слабее как числом сторонников, так и общей клеветнической отвагой. Редактора «Сынов Бирмы» привлекли к суду за злостную политическую агитацию и посадили. Арест его откликнулся в Рангуне небольшими (лишь парочка убитых) и быстро усмирёнными беспорядками. Сам редактор за решеткой объявил голодовку, продержавшись без пищи целых шесть часов.

В Кьяктаде тоже было беспокойно. Каким-то загадочным способом бежал из тюрьмы знаменитый бандит Нга Шуэ О. Кроме того, день ото дня множились слухи о мятежных крестьянских настроениях, в связи с которыми по секрету упоминалась Тхон-гва, деревушка в тиковых джунглях, недалеко от временной инспекционной стоянки Максвелла. В довершение всего объявился вейкса, колдун, бродивший по деревням, пророчивший гибель британской власти и торговавший рубашками, заговоренными от пуль. Не склонный верить слухам, мистер Макгрегор все же срочно запросил помощь военной полиции. Поговаривали, что в Кьяктаду вскоре прибудет рота индийской пехоты под командой английского офицера. Вестфилд, конечно, при первой же угрозе беспорядков (точнее, в надежде на них) поспешил отправиться в мятежную деревню.

– Господи, хоть бы раз они взбунтовались по-настоящему! – делился он с Эллисом перед отъездом. – Но хрен дождешься! Вечно пшик. Верить ли, я тут десятый год, и ни единой твари, даже бандита вшивого не подстрелил. Тоска.

– Что ж, – утешал Эллис. – Даже если они не лезут в драку, можно схватить их главарей, бамбуком в кровь отодрать. Все лучше, чем в твоей кутузке с ними нянчиться.

– Хм, это да. Хотя и этого себе сегодня не позволишь. Чертовы гуманные законы – приходится их соблюдать, раз уж мы, болваны, их приняли.

– Закон – тухлятина! Бирманец только палку понимает. Видал их после порки? Везут из тюрьмы полудохлых на телеге, вой, бабы им задницы кашей банановой мажут. Вот им закон! Я б только этих сволочей, как у турок, лупцевал: по пяткам!

– Ладно. Может, хоть нынче побуянят. Тогда и боевые полицейские отряды, и винтовки, и все что надо. Хлопнуть бы парочку дюжин – прочистить воздух!

Увы, надежды не сбылись. Когда Вестфилд с десятком полицейских (констебли, удалые мордастые гуркхи, жаждали пустить в ход свои кинжалы) ворвались в Тхонгву, деревня встретила унылым мирным покоем. Ни малейшего признака бунта, лишь ежегодная, возникавшая с регулярностью муссона, попытка крестьян уклониться от налога.

Становилось все жарче. Элизабет настиг первый приступ лихорадки. Теннис почти прекратился; после каждого сета игроки падали на скамейку и пинтами глотали прохладительные напитки, чаще тепловатые, поскольку лед, привозившийся только дважды в неделю, за сутки таял. Полыхали лесные пожары. Защищая лица детей от солнца цветной глиной, бирманки превращали ребятишек в карликовых африканских шаманов. К созревшим старым тутовым деревьям у базара слетались тучи голубей: и мелких, зеленых, и королевских, огромных, как утки.

Флори тем временем выгнал из дома Ма Хла Мэй.

Гнусное дело! Повод у него нашёлся – она украла и заложила китайцу Ли Ейку золотой портсигар. Но все, все в доме знали, что это из-за «крашеной английки», как называла Ма Хла Мэй светловолосую Элизабет.

Сначала обиженная бирманка держалась без истерики. Мрачно стояла, когда он выписывал ей чек, по которому она у того же Ли Ейка или индийского менялы получит сотню рупий, молча выслушала о своей отставке. Стыд жег Флори, голос его звучал глухо и виновато, он не мог поднять глаз, а когда за ней приехала телега, спрятался в спальне, дожидаясь конца этой муки.

Вот уже скрипнули по песку колеса и хрипло гикнул возница, но вдруг все зазвенело от кошмарных истошных воплей. Флори выскочил. У ворот в ярком свете дня боролись цеплявшаяся за столбик калитки Ма Хла Мэй и пытавшийся ее оторвать Ко Сла. При виде Флори женщина вскинула лицо, искривленное яростью и обидой, и закричала, бесконечно повторяя:

– Тхэкин! Тхэкин! Тхэкин! Тхэкин! Тхэкин!

Его пронзило, что даже сейчас она называла его тхэкин, «мой господин».

– В чем дело? – поморщился он.

Оказалось, Ма Хла Мэй и Ма Йи не поделили пряжку для волос. Оставив предмет раздора одной даме, Флори возместил другой ее утрату парой рупий. Телега наконец тронулась, увозя Ма Хла Мэй, угрюмо и прямо сидевшую между двух высоких корзин, с котенком на коленях. С котенком, которого он подарил ей всего два месяца назад.

Ко Сла, когда заветная его мечта о выдворении Ма Хла Мэй сбылась, нисколько не повеселел. Узнав же про намерение хозяина остаться в городке и посетить церковь, опечалился еще больше. Флори и в самом деле не уехал, а в воскресенье, в день приезда падре, отправился на утреннюю службу. Всей паствы собралось двенадцать человек (включая мистера Франциска, мистера Самуила и шестерых крещеных аборигенов), и миссис Лакерстин на крошечной сипевшей фисгармонии с единственной педалью заиграла «Пребуди во Мне». Впервые за последний десяток лет Флори очутился в церкви не на похоронах. А крайне смутно представлявший таинства ритуалов «английской пагоды» Ко Сла, как всякий холостяцкий слуга, воспринял этот респектабельный поход с глубочайшей интуитивной ненавистью.

– Быть беде! – мрачно вещал он у сараев. – Я все вижу! Хозяин-то последнюю неделю совсем другой стал – за день курит всего полпачки, джин перед завтраком не пьет, вечером снова бреется – думает, глупый, я не знаю! – и полдюжины новых шелковых рубашек заказал! Пришлось мне *очень* плохим словом ругаться на портного, чтобы, мол, вовремя хозяину эти рубахи. Ох, чую, худо будет! Еще месяца три от силы, и прощай мир да лад!

– Жениться, что ль, собрался? – спросил Ба Пи.

– Как пить дать. Коли белый стал в свою пагоду ходить, это уж точно – жди конца.

– Я у многих белых служил, – отозвался старый Сэмми. – Хуже всех был сахиб полковник Вимпол. Ему покажется, что слишком часто олады банановые жарить, так он велит своему ординарцу нагнуть тебя, прижать к столу, а сам со всей мочи тяжелым сапожищем пинает тебя в зад. А как напьется, станет прямо по хижине твоей палить. Но лучше у сахиба полковника Вимпола целый год, чем неделю у мэм-сахиб, что тебя в кухне учит-учит. Если хозяин женится, я в тот же день сбегу.

– А мне никак, все-таки уж пятнадцать лет ему служу. Только я знаю, как она тут будет, белая женщина. Будет жучить за каждую пылинку и, чуть в жару приляжешь, будет звонить, чтобы ей чай несли, и нос совать во всякую кастрюльку, и вопить из-за тараканов в помойном баке. Сдается мне, белые женщины и не спят вовсе – днем и ночью придумывают, чем бы слуг изводить.

– У них еще такие книжечки, – подхватил Сэмми, – куда они все пишут, что на базаре куплено: за это две аны, за это полторы. Ни пайсы³³ не дадут человеку заработать! На луковку себе возьмешь, а пият больше, чем сахиб за пропажу пяти рупий.

³³ Пайса – самая мелкая монета, $\frac{1}{64}$ рупии.

– Будто я не знаю? – тяжело вздохнул Ко Сла. – Эта будет еще похуже Ма Хла Мэй. Ох, женщины!

Эхом вздохнули и остальные, в том числе Ма Пью и Ма Йи, отнюдь не принявшие последний возглас на счет женщин вообще, поскольку англичанки виделись здесь особым племенем, не совсем даже человеческим и столь ужасным, что их воцарение мигом распугивало самых верных слуг.

10

Тревоги Ко Сла были, однако, преждевременны. На десятый день общения с Элизабет Флори едва ли стал ей ближе, чем в день знакомства.

Случилось так, что это время он был при ней фактически единолично: почти все белые разъехались по джунглям. Флори тоже абсолютно не имел права болтаться в городе – добыча древесины на его участке сильно затормозилась, и неопытный заместитель (полукровка, англо-индеец) слал ежедневные отчаянные письма с перечислением бедствий: один из слонов заболел! Мотор дрезины на узкоколейке, доставлявшей бревна к реке, сторел! Пятнадцать грузчиков разбежались! И все же, ссылаясь на лихорадку, Флори тянул, не в силах уехать от Элизабет, упорно надеясь вернуть чарующую теплоту их первой встречи.

Да, встречались они каждое утро, каждый вечер вдвоем играли в теннис (у миссис Лакерстин как раз разболелась нога, а мистера Лакерстина донимала больная печень, что вынуждало супругов безвылазно сидеть в салоне клуба, утешаясь сплетнями и бриджем). Они подолгу бывали вместе, часто наедине, болтали вроде бы свободно, без конца обсуждая бесконечную ерунду, но Флори не покидала скованность; ни разу не удалось забыть о своей меченой щеке. Дважды в день скоблившийся подбородок горел, организм изнывал без невозможных в присутствии девушки виски и сигарет. Желанная задушевность не приближалась.

Почему-то не удавалось нормально поговорить. Просто поговорить! Звучит тускло, но означает так много! Если полжизни жил в жестоком одиночестве, среди тех, кого возмущил бы любой твой искренний отклик на что угодно, жажда общения становится первейшим из всех желаний. Однако же серьезный разговор никак не получался. Беседы, будто заколдованные, неизменно брнчали стандартным набором: грампластинки, собаки, теннис – обычная, пошлая клубная трескотня. Словно Элизабет и *не хотелось* говорить о чем-либо другом. Стоило Флори коснуться темы мало-мальски интересной, щебет ее сменялся уклончивой сухостью, в голосе слышалось «не буду с тобой играть!». Ее литературный вкус, обнаружившись, ужаснул. Правда, Флори напоминал себе, что это еще дитя, к тому же разве не питала эту душу атмосфера парижских платанов, белого вина, бесед о Прусте? Со временем она, несомненно, поймет и отзовется так, как ему жажжется. Надо лишь заслужить ее доверие.

Конечно, такта Флори не хватало. Замкнутый книголюб, он лучше понимал идеи, чем окружающих. И при всей пустоте их разговоров стал порой раздражать Элизабет: не столько даже тем, что *говорил*, сколько тем, что он *подразумевал*. Между ними возникла напряженность, не очень внятная, но часто доводившая почти до ссоры. Когда один человек знает страну, а некто только приезжает, первый, естественно, становится гидом и толкователем; Элизабет осматривалась в Бирме – Флори показывал, переводил и объяснял. Стиль пояснений и вызывал в туристке внутренний протест. Рассказывая о туземцах, гид, например, всегда держал их сторону, хвалил их обычаи и нравы, позволял себе даже сравнивать местных с англичанами, причем опять-таки в *их пользу*. Это задевало. Пусть они экзотичны, любопытны, но все-таки относятся к «низшим» народам, неразвитым и темнокожим. Позиция гида отличалась какой-то *чрезмерной* терпимостью. Однако Флори не уловил, чем постоянно вызывалось эмоциональное сопротивление Элизабет. Он так старался показать ей Бирму во всей прелести и так страшился увидеть надменный, равнодушный взгляд мэм-сахиб! Забыл, что большинству людей в чужой стране уютно лишь с ощущением презрительного превосходства над коренными жителями.

Конечно, Флори чересчур усердствовал в попытках заинтересовать Элизабет Востоком. Пробовал, например, вдохновить ее на изучение бирманского языка – безуспешно (тетушка объяснила племяннице, что бирманский нужен только миссионеркам, а дамам для объяснений со слугами вполне достаточно краткой кухонной версии индийского урду). И подобным маленьким расхождениям не было конца. Взгляды у него, начинала чувствовать Элизабет, не

совсем те, коих должен держаться англичанин. Еще яснее она различила его желание вызвать в ней симпатию к бирманцам и даже восхищение ими. Дикарями, чей вид по-прежнему заставлял содрогаться!

Спорная тема вновь и вновь возникала по бесчисленным поводам. Вот шла навстречу мужская компания бирманцев. Все еще удивленно и слегка брезгливо оглядев их, Элизабет делилась с соотечественником:

– Как они все же *безобразны*, правда?

– *Разве?* По-моему, довольно симпатичны, а скроены вообще роскошно. Смотрите, какой торс у парня, – бронзовый атлет! И представьте, сколько анатомических курьезов явила бы нам бы улица в Англии, если б и там расхаживали полуобнаженными.

– Но эти жуткие головы! Без затылка, как у кошек, с покатым, *каким-то хищным*, лбом. Я в журнале читала про формы черепа, там говорилось, что покатый лоб выявляет врожденную *криминальность*.

– Не слишком ли размашистое обобщение? У половины человечества такие лбы.

– Ну, если вы имеете в виду всяких *цветных*, тогда конечно... Или вот проходила мимо вереница крестьянок с кувшинами на головах – медно-коричневые тела, стройные сильные спины, выпуклость плотных, крепких ягодиц. Бирманки особенно шокировали Элизабет, ощущавшую как оскорбление некое свое видовое родство с женским туземным населением.

– Просто страшили, да? Что-то такое *грубое*, похожи на каких-то животных. Неужели они *кому-нибудь* могут нравиться?

– Полагаю, своим мужчинам.

– Ну, если только своим. Но как дотронуться до этой черной кожи? Бр-р!

– Знаете, существует мнение, и я склонен с ним согласиться, что пожившим на Востоке смуглая кожа видится более органичной, естественной. Собственно, так оно и есть. Возьмите мир в целом – скорее уж белых надо признать странным капризом природы.

– *Очень* забавно!

И так далее, и так далее. В его рассуждениях ей постоянно слышалось нечто чуждое, нездоровое. Особенно отчетливо это проявилось тем вечером, когда Флори позволил двум метисам-отщепенцам, мистеру Самуилу и мистеру Франциску, вовлечь себя в беседу у клубных ворот.

Элизабет в тот вечер пришла в клуб чуть раньше Флори и, заслышав его голос, направилась навстречу, к корту. Оба евроазиата, подступив бочком, стояли подле Флори, заглядывая ему в лицо глазами псов, умоляющих хозяина поиграть с ними. Говорил в основном худенький, табачного оттенка, вечно возбужденный Франциск, сын женщины с юга Индии. Бледно-желтый, с тусклыми рыжими волосами Самуил, чья мать была из бирманских каренов, молча млел. Тщедушные, в солдатских обносках и огромных тропических шлемах, они казались парочкой хрупких поганок. Говорить с белым, да еще рассказывать о себе было для них великим, величайшим счастьем. И когда изредка (не чаще пары случаев в год) такой шанс выпадал, речи Франциска лились неукротимым потоком. Элизабет подошла как раз вовремя, чтобы узнать о главных вехах его богатой и поучительной биографии.

– Отца моего, сэр, я помню плоховато, – гортанной, певучей скороговоркой рассказывал Франциск, – но он был ужасно сердитый, ходил с большой тяжелой палкой и часто дубасил нас всех: меня, моего сводного братишку и наших мамочек. А когда ожидался епископ, нам с братишкой сразу приказывали надеть лонджи и бегать с туземными детьми, как будто мы чужие. А моему-то отцу, сэр, никак было не стать епископом. Он, сэр, за тридцать лет секты свои пять раз переменял, и потом слишком обожал водку китайскую из риса, страсть как шумел с нее, и еще сочинил самую великолепную брошюру «Бич пьянства» – издано общиной баптистов в Рангуне, цена одна рупия восемь ан. А мой сводный братишка умер, жары не вытерпел, все кашлял, кашлял...

Евроазиаты заметили Элизабет и, сдернув с голов свои шлемы, сверкая улыбками восторга, раскланялись. Судьба годами не баловала их беседой с белой леди. Вспыхнувший Франциск, в страхе, что его прервут и разговор потухнет, судорожно зачастил:

– Добрый вечер, мадам, добрый, добрый вечер! Такая честь, большая честь, мадам! Какая жаркая погода на этих днях, не так ли? Да, апрель, апрель. Вас, верно, очень донимают приступы лихорадки? Самое лучшее средство – толченый тамаринд прикладывать. Я сам каждую ночь ужасно мучаюсь. Очень уж донимает лихорадка нас, европейцев.

«Нас, европейцев» было произнесено с важностью мистера Чоллопа из «Мартина Чезлвита»³⁴. Элизабет, холодно глядя, не ответила: кем бы ни были эти субъекты, их развязность явно превышала меру допустимого.

– Спасибо, насчет тамаринда я запомню, – кивнул Флори.

– Старый, проверенный рецепт китайцев, сэр. А еще, знаете, и вам, сэр, и мадам не надо бы сейчас ходить в панаме. Очень, очень опасно! Аборигенам-то все нипочем, а у нас череп тонкий, нам это солнце прямо смерть! Но вы спешите, да? – упавшим голосом протянул Франциск. – Вам некогда, мадам?

Элизабет окончательно решила презреть вульгарных типов, с которыми теряет время Флори, и пошла к корту, досадливо хлопнув в воздухе ракеткой. Флори тут же стал прощаться, стесняясь, стараясь как можно дружелюбнее спровадить этих терзавших душу несносных горемык.

– Надо идти, – развел руками он, – ну, пока, Франциск, пока, Самуил.

– До свидания, сэр! До свидания, мадам! Приятного, приятного вам вечера!

Пятясь и махая огромными шлемами, бедняги удалились.

– Боже мой, *кто* это? – спросила Элизабет. – Нелепые какие! Я уже видела их в церкви, один по виду почти белый, но ведь не англичанин, нет?

– Нет. Сыновья белых отцов и местных женщин. Мы таких ласково называем «желтопузыми».

– Но как они живут, чем? Где работают?

– Перебиваются кое-как при базаре. Франциск, насколько мне известно, писарем у закладчика индуса, а Самуил кем-то вроде ходатая по тяжбам. Хотя кормятся главным образом за счет милосердия туземцев.

– Что? Вы хотите сказать – *милостыни* от туземцев?

– Именно так. Расход, думаю, невеликий, если, конечно, есть желание помочь. А у бирманцев принято спасать ближних от голода.

О нищенстве в колониях людей, хотя бы отчасти белых, Элизабет слышала впервые. Новость так поразила ее, что теннис еще на несколько минут был отложен.

– Ужасно! Недопустимый, по-моему, пример! Ведь они все-таки почти как *мы*, и неужели нельзя что-то сделать? Собрать немного денег по подписке и отослать этих двоих куда-нибудь?

– Боюсь, проблеме это не решит, их всюду ожидает та же участь.

– Ну, а нельзя найти им хоть какой-то пристойный заработок?

– Сомневаюсь. Видите ли, у подобных полукровок, возвращенных на помойке и полуграмотных, нет стартовой площадки. Европейцы, гнушаясь ими, не подпустят карикатурную родню и к самым ничтожным штатным должностям. Ничего им не светит, кроме как жить милостыней, пока они не оставят своих жалких потуг быть «белыми». Однако ж не оставят, и понятно – капля европейской крови их единственный капитал. Бедняга Франциск, как ни встретишь, все с рапортом о своей лихорадке. Понимаете? Считается почему-то, что туземцев

³⁴ Персонаж из романа Диккенса «Мартин Чезлвит», мистер Чоллоп – весьма саркастичный образ американского невежды, презрительно наставляющего представителей европейской культуры.

она не треплет. То же самое их здоровенные шлемы от солнца – демонстрация нежных европейских макушек. Так сказать, родовой герб бастардов.

Рассуждения Флори девушку не убедили, лишь вновь задели его потаенным сочувствием метисам, которые внушали ей неприязнь и которых она для себя наконец классифицировала, отнеся к сорту мексиканцев, итальянцев и прочих «даго», в кинофильмах всегда изображающих *плохих*.

– Ужасно выглядят – такие хилые и льстивые, и лица такие *неблагородные*. Это ведь *явное* вырождение? Я слышала, что полукровки всегда наследуют самое скверное с обеих сторон?

– Не знаю, вряд ли. Евроазиаты частенько далеки от совершенства, но иного при обстоятельствах их жизни ждать трудно. Вот наше отношение к ним действительно самое скотское, словно бы эти бедолаги заводятся от сырости. Происхождение их известно, стало быть, нам и отвечать за их существование.

– Нам?

– Ну, отцы же у них были.

– О!.. Это... Но ведь это же не мы. Только последний негодяй мог бы... ну... связаться с туземкой, вы не согласны?

– Совершенно согласен, лишь замечу, что в данном случае отцами были посланцы святых миссий.

Флори вспомнилась полукровка Роза Мэрфи, соблазненная им в 1913-м в Мандалае. Вспомнилось, как он крадучись выскальзывал из дома и ехал, прячась в плотно зашторенной повозке; вспомнились завитые тугими локонами волосы Розы, ее мать, сухонькая старая бирманка, наливавшая ему чай в гостиной с горшком папоротника и плетеным диваном. И позже эти написанные на дешевой бумаге, бесконечные душераздирающие письма, которые он перестал вскрывать.

После тенниса Элизабет вновь заговорила о Самуиле и Франциске:

– А с этими двумя кто-нибудь дружит, приглашает их к себе?

– Боже упаси! Абсолютные изгои. С ними даже не разговаривают, исключительно «здравствуйте-прощайте», а Эллис и того не скажет.

– Но *вы* ведь сейчас с ними говорили?

– Что ж, у меня склонность к поправанию приличий. Речь о благородных пакка-сахибах, от которых я изредка дерзаю отличаться.

Опрометчивая реплика. Выражение «пакка-сахиб» и его смысл Элизабет уже вполне усвоила, так что разница позиций прояснилась. На Флори был брошен почти враждебный взгляд – нежное, гладкое, как лепесток, девичье лицо умело смотреть на удивление жестко, с особым холодком, блестящим в стеклышках очков. Очки вообще до странности выразительная штука, едва ли не выразительнее глаз.

Но даже в тот раз Флори ничего не понял, не догадался, почему не вызывает ее доверия. Внешне, однако, все текло довольно гладко. Подчас он раздражал Элизабет, но память о его подвиге в день знакомства еще не развеялась. Примечательно, кстати, что девушка пока как-то не обращала внимания на его ужасное пятно. К тому же все-таки имелись некие увлекавшие ее сюжеты – охота, например (тут она проявляла редкий для своего пола энтузиазм), а также лошади (увы, в этом предмете Флори был менее сведущ). Они договорились вскоре вместе поехать на охоту. Оба готовились к экспедиции с равным, хотя имевшим разные мотивы, нетерпением.

11

Утренняя прогулка Элизабет и Флори походила на плавание сквозь волны зноя. Они шли по дороге, ведущей к базару. Навстречу, шаркая сандалиями, тянулись посетившие рынок бирманцы, быстро семенили стайки щебечущих, сверкавших гладкими черными головками девушек. С обочины, разломанные хваткой мощных тутовых корней, осколки плит старинной пагоды гневно тарасились резными ликами демонов. Одно большое тутовое дерево, обвившись вокруг пальмы, гнуло, заламывало стройный ствол в беспощадной многолетней борьбе.

Гуляющая пара приблизилась к тюрьме – громадному квадратному строению с бетонной стеной футов двадцать в высоту. По гребню стены расхаживал, скребя когтями, тюремный ручной павлин. Две тройки матерых мосластых арестантов в робах из мешковины и таких же колпаках на бритом темени, нагнув головы, волокли груженные землей телеги под надзором индийца-конвоира. Громко звенели кольца ножных кандалов, серые лица не выражали ничего, кроме тупого равнодушия. Небрежно отмахиваясь от круживших над ней наглых ворон, прошла женщина с корзиной рыбы на голове. Где-то поблизости морским прибоем шумели голоса.

– Базар здесь прямо за углом, – пояснил Флори, – забавное местечко!

Накануне он предложил Элизабет прийти сюда, полагая развлечь ее экзотикой местного рынка. Они свернули за угол. Огороженный вроде большого загона для скота, базар состоял из теснившихся по кругу низеньких, крытых пальмовым листом ларьков. Крик, толчея, искрящийся каскад одежд всех цветов радуги. Позади рынка виднелся широкий мутный речной поток, стремительно мчавший коряги и пряди пены. У берега качалось множество привязанных к шестам остроклювых сампанов с нарисованными на бортах лодок глазами.

Элизабет и Флори остановились понаблюдать. Мимо, придерживая на головах корзины овощей и таща за собой обалдевавших при виде европейцев ребятишек, сновали покупательницы. Старый китаец в линялой синей куртке спешил куда-то, нежно прижав к груди кусок каких-то залитых кровью свиных потрохов.

– Ну что, побродим вдоль ларьков? – предложил Флори.

– В этой толпе? Так грязно, ужас.

– Да вы не беспокойтесь, нас пропустят. Идемте, будет любопытно.

Элизабет последовала нерешительно и неохотно. Опять он затащил ее к туземцам смотреть их мерзкую возню! Зачем? Все это как-то неправильно! Но, не умея объяснить протест, девушка все-таки пошла. Густо ударило в нос острой смесью чеснока, рыбы, пота, пыли, кориандра, аниса и гвоздики. Вокруг месиво тел: пропеченные солнцем коренастые крестьяне, морщинистые старики с узелками седых волос, матери с голыми младенцами под мышкой. Вертевшаяся под ногами Фло лаяла непрерывно. Чье-то плечо крепко толкнуло Элизабет – увлеченные битвой перед прилавком, крестьяне даже не заметили белую леди.

– Взгляните-ка! – Флори стеком указал на один из прилавков, дальнейший его комментарий потонул в криках двух торговков, грозивших друг другу кулаками через корзину ананасов.

Элизабет уже мутило от шума и зловония, а Флори проталкивался глубже и глубже, поминутно указывая стеком ту или иную живописную деталь. Товары выглядели чрезвычайно странно, очень сомнительно и бедно. Тяжелые шары подвешенных на нитках грейпфрутов, красные бананы, корзины лиловых креветок размером с омаров, связки ломкой сушеной рыбы, горы стручков перца, тушки разделанных копченых уток, зеленые кокосы, пучки сахарного тростника, личинки жука-носорога, остро заточенные дахи, лакированные сандалии, клетчатый шелк, напоминающие куски мыла пилюли для любовного влечения, громадные глиняные фляги, китайские конфеты из чеснока с сахаром, белые и зеленые сигары, бусы из фиолетовых семян хурмы, пищащие цыплята в плетеных клетках, медные Будды, кучи похожих на плоские сердечки листьев бетеля, бутылки со слабительным, накладки для причесок, кухон-

ные горшки, подковы для волов, игрушки из папье-маше, магические ленточки из крокодильей кожи. Голова у Элизабет кружилась. На другом конце базара солнце сквозь алый зонт буддийского монаха кроваво просвечивало, как сквозь ухо великана. Перед очередным ларьком четыре женщины, дравидки, дубинами толкли в огромной деревянной ступе кориандр; едкая пряная пыль, набившись в ноздри Элизабет, заставила ее чихать. Кошмар достиг предела, девушка тронула Флори за рукав.

– Эта толпа, эта жара, невыносимо. Можно куда-нибудь в тень?

Гид обернулся. Честно говоря, пыл красноречия (напрасный в базарном гаме) весьма ослабил его внимание к едва живой спутнице.

– О, простите, немедленно отсюда! Передохнем в лавке у китайца, Ли Ейк парень гостеприимный. Как-то и впрямь душновато.

– Дышать нечем от этих специй, и что это за жуткий рыбный запах?

– А-а, такой местный соус из креветок, которых сначала на несколько недель закапывают в землю.

– Боже, какая гадость!

– Ничего, даже полезно. Фу, нельзя! – прикрикнул он на Фло, сунувшую свой нос в корзину, полную рыбешек с игольчатыми жабрами.

Магазинчик Ли Ейка стоял в дальнем конце базара. Чего Элизабет действительно хотелось, так это вернуться в клуб, но китайская лавка, где на витрине красовались рубашки из манчестерского хлопка и баснословно дешевые немецкие часы, успокоительно выглядела островком Европы в пучине варварства. У самой двери их нагнал тощий парнишка с напыленным «англиканским» пробором, в надетом поверх лонджи синем блейзере и оранжевых штиблетах. Неуклюже то ли шаркнув, то ли склонившись, он протянул Флори замызганный конверт.

– Письмо, сэр.

– Вы позволите? – кивнул Флори Элизабет и распечатал послание.

В письме, составленном от имени Ма Хла Мэй и заверенным снизу ее крестиком, содержалось невнятно угрожавшее требование пятидесяти рупий. Флори отвел парнишку в сторону.

– По-английски понимаешь? Скажи, пусть подождет, и передай: своей угрозой она не вытянет ни пайсы. Ясно?

– Да, сэр.

– Иди. И чтоб я тебя больше не видел!

– Да, сэр.

– Напрашивался в клерки, покоя от них нет, – объяснил Флори, поднявшись вслед за Элизабет на крыльцо, а про себя подумал, что оставленная подруга как-то уж слишком быстро принялась за шантаж. Впрочем, сейчас некогда было это обдумывать.

После улицы в лавке, казалось, царил ночь. Увидев, кто вошел, хозяин, сидевший и куривший среди корзин с товаром (прилавка в помещении не было), заковылял навстречу. По спине облаченного в синий халат старого китайца спускалась длинная коса, скуластое желтое лицо смахивало на добродушный череп. Флори дружил со стариком. Ли Ейк смешливо приветствовал его гортанным, якобы бирманским, похожим на крик диких гусей восклицанием и поспешил в глубь лавки распорядиться насчет угощения. В воздухе вился сладковатый дымок опиума. К стенам были приклеены ленты красной бумаги с черными иероглифами, на возвышении маленького алтаря перед изображением четы дородных безмятежных особ в расшитых одеяниях тлели ароматические палочки. Две китаянки, старая и молодая, сидя на циновке, скатывали сигареты из похожей на рубленый конский волос смеси табака и соломы. Одеты они были в черные шелковые шаровары, ступни с круто вздутым подъемом были втиснуты в красные деревянные, буквально кукольные, туфельки. По полу толстым желтым лягушонком ползал голый младенец.

– Какие у них ноги! – шепнула Элизабет, пока хозяин лавки стоял к ним спиной. – Просто кошмар! Как это? Это же не от природы?

– Нет, достигнуто особыми приемами, эффект изощренного мастерства. Древний, теперь уже немодный обычай, вроде косы у старика. Согласно китайской эстетике, чем ножки миниатюрней, тем прелестней.

– Прелестней! Смотреть страшно на их уродство. Совсем, видимо, дикари!

– Ну что вы! Полагаю, их культура постарше и поглубже нашей. А красота лишь дело вкуса. Для одного из здешних малых народов, палаунгов, женская красота измеряется длиной шеи; девочкам постепенно добавляют ряды медных ошейников, вытягивая шейку до изумительной жирафьей высоты. Не более эксцентрично, нежели корсет или кринолин.

Тем временем хозяин возвратился в сопровождении двух молоденьких бирманских толстух, вероятно, сестричек, которые, хихикая, несли пару стульев и синий двухлитровый китайский чайник. Девушки были (или являлись прежде) любовницами старика. Ли Ейк вскрыл жестянку с шоколадом, ласково улыбаясь, обнажив в улыбке три почерневших, прокуренных зуба. Гости сели, хотя Элизабет не покидала напряженность: не следовало, разумеется, идти сюда и пользоваться гостеприимством этих людей. Одна из девушек, став позади гостей, принялась обмахивать их веером, другая, опустившись на колени, начала разливать чай. Элизабет чувствовала себя совершенно по-дурачки, с этой махавшей сзади веером девицей и ухмылявшимся прямо в лицо старым китайцем. Казалось, спутник нарочно вовлекал ее в столь нелепые ситуации! Предложенную шоколадку она взяла, но выговорить «спасибо» губы не разжались.

– Это *вполне* прилично? – тихонько спросила она Флори.

– Прилично?

– Ну, это не очень... не слишком *недостойно* сидеть нам тут у них?

– У китайцев? Они в этой стране аристократы, причем достаточно демократичных воззрений. Думаю, нам позволительно держаться с ними на равных.

– Чай гадкий, какой-то совсем зеленый. Они не догадуются хотя бы чуточку молока подлить?

– Не стоит. Этот особый сорт старику присылают из Китая, чай с лепестками мандариновых цветов.

– А вкус, будто опилки заварили, – вздохнула она, осторожно пригубив.

Держа полуметровую курительную трубку с металлическим желудем на конце, Ли Ейк заботливо следил за угощением гостей. Стоявшая позади стульев девушка что-то сказала по-бирмански сестре, обе прыснули, сидевшая на полу, вскинув глаза, с откровенным ребячьим восхищением уставилась на Элизабет и затем, повернувшись к Флори, спросила, есть ли у белой леди под платьем корсет («кьюрсет»)?

– Ш-ш! – сердито одернул болтушку Ли Ейк и легонько пнул ее в бок.

– Мне затруднительно узнать это у леди, – ответил Флори.

– О, тхэкин, пожалуйста, узнайте! Так интересно!

Позабыв о любезном обмахивании гостей, и вторая сестра присоединилась к мольбе. Обе, как выяснилось, больше жизни жаждали увидеть «кьюрсет», им столько приходилось слышать про этот железный жилет, который крепко-крепко сжимает женщину, чтоб не было грудей, совсем-совсем не было! Для наглядности они прижимали пухленькие ручки к означенным частям тела. Нельзя ли все же попросить белую леди? Тут сзади комнатка, куда она может пройти с ними и там раздеться. Им так хотелось бы увидеть, ну пожалуйста!

Вдруг стало тихо. Явно не зная, куда деть чашку, полную отвратительного чая, Элизабет сидела с весьма натянутой, точнее, каменной улыбкой. Холод сковал детей Востока, их наивная болтливость столкнулась с ледяным молчанием, от изумительно красивой англичанки дохнуло чем-то устрашающим. Даже Флори почувствовал легкий озноб. Повисла тяж-

кая, нередкая в общении с азиатами, пауза, когда собеседники, пряча глаза, тщетно ломают голову над продолжением разговора. В этот момент, соскучившись среди корзин, голый малыш приполз из недр лавки к самым ногам гостей. С пристальным любопытством исследовав их обувь, он поднял голову – два жутких белых лица привели его в ужас. Раздался рев, и на пол полилась тонкая струйка.

Старуха глянула из угла, цокнула языком и продолжала скатывать сигареты. Остальные вообще как будто ничего не заметили. Лужа делалась все шире. Испуганно расплескивая чай, Элизабет быстро поставила чашку вниз и вцепилась в руку Флори.

– Этот ребенок! Посмотрите, что он делает! О, неужели никто... Нет, это уж слишком!

Мгновение все удивленно глядели, не сразу поняв ее тревогу. Затем поднялась суматоха, зацокали языки. До сей минуты детская провинность воспринималась безразлично как акт самый естественный, но теперь домочадцы сгорали от стыда, на малыша посыпались упреки «ай, позор!», «ай, противный!». Подхватив все еще ревавшего мальчонку, старая китаянка потащила его на крыльцо, чтобы, держа там над землей, избавить от лишней влаги на манер отжимания купальной губки. Элизабет выскочила вон, Флори вдогонку. Ли Ейк взволнованно и огорченно смотрел вслед убегающим гостям.

– Вот это у вас древняя культура? *Это* культурный народ? – возмущалась Элизабет.

– Простите, – бормотал Флори, – мне и в голову не могло прийти...

– Гнусный и *омерзительный* народ!

Она пылала гневом. Румянец горел ярчайшим из возможных оттенков ее кожи – нежно-розовым колером чуть проклюнувшихся маковых бутонов. Он молча шел за ней через базар и, лишь отшагав сотню ярдов по дороге, отважился вновь открыть рот:

– Мне очень жаль, поверьте. Вообще-то Ли Ейк отличный малый, он теперь будет страшно переживать, что оскорбил вас. Надо было бы попроситься, хотя бы поблагодарить за чай.

– Ах, еще *поблагодарить*? После всего!

– Нет, правда, вы обиделись напрасно. У этого народа совсем иное мировосприятие, и нужно постараться как-то понять столь непривычную цивилизацию. Представьте, например, что вы вдруг оказались в средневековье...

– Я предпочла бы помолчать!

Впервые они определенно ссорились. Убитый горем, Флори даже не спрашивал себя, чем провинился, тем паче не подозревал, что именно его хвалы Востоку бесят ее неджентльменской, извращенной и нарочитой тягой к «свинству». Не замечал даже ее брезгливых взглядов на туземцев. Знал только, что при всякой попытке поделиться с ней своими мыслями, впечатлениями, ощущениями она фыркает и шарахается от него.

Они взбирались по холму. Флори шел слева, чуть позади девушки, неотрывно глядя на край щеки и золотившиеся под панамой мягкие прядки стриженных волос. Как он любил, как он любил ее! словно истинная любовь открылась ему лишь сейчас, именно сейчас, когда он понуро плелся следом, не смея даже показаться со своей безобразной щекой. Несколько раз Флори порывался заговорить, но голос не слушался. Да и что ж можно было сказать, не рискуя снова задеть ее? Наконец, неуверенно изображая светскую легкость, он вымолвил:

– Что-то чертовски душно?

При жаре пятьдесят градусов в тени реплика не блестящая. Однако, к его удивлению, она откликнулась очень живо – обернулась и, улыбнувшись, подтвердила:

– Просто *некло*!

И все, и опять мир. Глупейшая банальность смягчала ее как по волшебству. Часто дыша и капая слюной, подбежала отставшая Фло, и тут же началась, застрекотала продлившаяся почти до самого дома обычная трепотня о собаках. Псы – сюжет неистощимый. Но почему только собаки? Мысль эта занимала Флори всю дорогу, пока солнце жгло склон и палило огнем

спины, едва защищенные хлопковой тканью. Почему ни о чем, кроме собак, либо тенниса, либо патефонных пластинок? И все же, если не сбиваться с курса клубного пустословия, как хорошо и дружелюбно журчал разговор!

Вдоль сверкавшей белой кладбищенской стены они подошли к дому Лакерстинов. У ворот росли густые могары и вымахавшие на восемь футов штокрозы с цветками, круглыми и пунцовыми, как щечки деревенских красоток. Под деревом Флори снял панаму, обмахивая лицо.

– Что ж, мы успели вернуться до самой зверской жары. Боюсь только, экскурсия по базару не слишком удалась.

– И вовсе нет! Было действительно забавно.

– Ох, не уверен. Как-то не везет, все время что-то не так. Да, кстати, вы не забыли – послезавтра мы едем на охоту. Готовы?

– Разумеется! И дядя обещал дать мне его ружье. С ума сойти! Вы непременно научите меня стрелять и все такое. Мне *так* хочется поскорей!

– Мне тоже. Не лучшая пора для охоты, но будем надеяться. А пока до свидания?

– До свидания, мистер Флори.

Она все еще называла его официально, хотя он ее – просто Элизабет. В предстоящей поездке, оба чувствовали, многое между ними определится.

12

Неспешно расхаживая по своей темной зашторенной гостиной, потев в липкой дремотной духоте, то и дело почесывая жирную, как у рыночной торговки, грудь, У По Кин похвлялся перед супругой. Жена сидела на циновке, курила тонкую белую сигару. Через раскрытую дверь в спальню виднелся угол монументального, торжественного, напоминавшего катафалк ложа, на котором великое множество раз судья тешил плоть сладострастным насилием.

Ма Кин услышала наконец про то самое «другое дело», которое побудило мужа начать атаку на доктора Верасвами. Презирая женский ум, глава семьи все-таки рано или поздно повеял свои тайны супруге, ибо в ближайшем окружении лишь она нисколько его не боялась, так что было особенно приятно поражать, восхищать именно ее.

– Ну, Кин-Кин, смотри, все по плану! Восемнадцать анонимных писем, одно лучше другого. Я б тебе даже кое-что почитал, умей ты оценить.

– А если белые не обратят внимания?

– Не обратят? Х-ха! Еще как, еще как обратят! Уж я-то их натуру знаю, и, скажу тебе, насчет этих писем я умею: сочиню всегда в точности, чтобы их пронять.

Действительно, У По Кин знал и умел. Письма уже успели растревожить адресатов, наиболее впечатлив важнейшего из них – мистера Макгрегора.

Два дня назад представитель комиссара весь вечер беспокойно размышлял относительно возможной нелояльности доктора. Открытое сопротивление властям, разумеется, исключено, но сколь надежны внутренние убеждения? В Индии человека оценивают не по тому, что делается им, а по тому, каков он. Малейшая тень нелояльности мгновенно губит карьеру туземного чиновника. Впрочем, мистер Макгрегор был слишком справедлив для того, чтобы немедленно отлучить даже уроженца Востока. Поэтому и за полночь он все еще сидел над грудой секретных бумаг, включавших пять анонимных писем, полученных им лично, и два скрепленных иглой кактуса письма из почты начальника полиции.

Не утихали также слухи и пересуды. У По Кин понимал, что одних обвинений доктора в измене будет недостаточно, необходимо очернить его во всем статьям. Так что, помимо политической измены, доктору вменялись в вину пытки, взятки, изнасилования, подпольные хирургические операции, а также проведение законных операций в пьяном виде, убийства посредством ядов и магии, нарушение заповедей индуизма и попрание буддийских святынь (ношение обуви в пагоде), продажа разбойникам свидетельств о скоростижной смерти их жертв вследствие ангины и гомосексуальные преследования юного барабанщика из полицейского отряда. Мистер Макгрегор поначалу равнодушно воспринимал сообщения об этой единоличной сумме пороков Макиавелли, Джека-потрошителя и маркиза де Сада: представитель комиссара давно привык не обращать внимания на подобные доносы. Однако последняя анонимка нанесла удар действительно великолепный.

Дело касалось сбежавшего бандита. Отсидев половину срока из положенных ему семи лет, разбойник Нга Шуэ О стал готовиться к побегу. Для начала его друзья на воле сумели подкупить охранника. С авансом в сто рупий тюремный страж отпросился в деревню хоронить родственника и неделю блаженствовал в мандалайских борделях. Затем, поскольку время шло, но побег все откладывался, тоскующий по борделям охранник решил еще подзаработать, выдав преступный план судье. У По Кин случай, конечно, не упустил – охраннику, пригрозив, велел держать язык за зубами, а в самую ночь побега, когда уж поздно было чем-либо воспрепятствовать, анонимно уведомил главу округа о лихом злоумышленном сговоре, во главе которого был назван, разумеется, тюремный начальник, известный мздоимец Верасвами.

Утром в тюрьме поднялся тарарам, полиция и конвоиры носились, обыскивая каждый закоулок (Нга Шуэ О уже далеко уплыл в заботливо приготовленном судьей сампане). Мистер

Макгрегор был сражен. Кем бы ни являлся анонимщик, на сей раз донос подтвердился и сговор, безусловно, имел место. А коль скоро возникли основания подозревать доктора во взятках, то – логика не совсем строгая, но вполне ясная представителю комиссара – значительно вероятнее сделалась и скрытая политическая неблагонадежность.

Одновременно У По Кин обрабатывал и других белых. Отогнать от Верасвами гаранта его престижа, трусливого дружочка Флори, не составляло труда. Сложнее было с Вестфилдом; у начальника полиции имелось немало информации насчет делишек местного судьи; к тому же полицейские извечно ненавидят судебных. Но даже такой расклад У По Кин сумел обернуть себе на пользу – очередная анонимка винила доктора в союзе с отъявленным мерзавцем и вымогателем У По Кином. Это Вестфилда убедило.

Эллису писать было незачем, он и без понуждений рвался съесть доктора живьем. Зато одно из писем знаток европейских душ не поленился послать миссис Лакерстин. Чувствительной (и влиятельной) леди кратко сообщалось, что Верасвами подстрекает аборигенов похищать и насиловать белых женщин. Детали не понадобились – У По Кин точно определил большое место: «мятеж», «пропаганда», «националисты» рисовались миссис Лакерстин одной жуткой, порой до утра не дававшей уснуть картиной сверкающих глазами и яростно срывающих с нее платье смуглых грузчиков. В общем, сколь ни благоприятно было прежде мнение европейцев о докторе Верасвами, теперь оно стремительно менялось к худшему.

– Видишь? – самодовольно подытожил У По Кин. – Я его подрубил со всех сторон, осталось лишь толкнуть мертвое дерево. Недельки через три я и толкну.

– Как это?

– Ладно, расскажу тебе. Смыслишь ты мало, но рот на замке держать умеешь. Слышала ты про бунт, который затевают в Тхонгве?

– Ой, глупые крестьяне, куда им с их дахами и копьями против индийских солдат? Их же перестреляют, как зверей в лесу.

– Ясное дело! Начнут беситься – перебыют. Ишь, темнота, рубах, которые пуль не боятся, накопили. Тупая деревенщина!

– Бедные люди! Почему ты их не остановишь? Не надо арестовывать, просто скажи им, что все тебе, судье, про них известно, и они сразу притихнут.

– Ну, я, конечно, мог бы, мог бы. Но уж не стану, нет! Только смотри молчи, жена, – мятеж-то мой. Я сам его готовлю.

– Ты?!

Сигара выпала изо рта Ма Кин, узкие глаза в ужасе округлились.

– Что ты такое говоришь? Ты и мятеж? Этого быть не может!

– Может, может. И пришлось-таки мне похлопотать. Колдуна этого нашел в Рангуне – отменный плут, факир, всю Индию с цирком объехал, рубахи от пуль мы с ним на распродаже по полторы рупии сторговали. Денег-то, я тебе скажу, порядочно ушло.

– Но мятеж! Битва, кровь, столько людей убьют! Ты не сошел с ума? Ты не боишься, что и тебя застрелят?

У По Кин оцепенел от изумления.

– Святые небеса! О чем ты, женщина? Я, что ли, буду бунтовать? Я, испытанный, вернейший слуга правительства? Ну, ты надумаешь! Я тебе говорю, что здесь мои мозги, а не мое участие. Шкуры пускай дырявят олухам деревенским. Про мое к этому касательство известно только двоим-троим надежным людям, сам я чист как стеклышко.

– Но ведь ты подговаривал взбунтоваться?

– А как же? Если Верасвами изменник, должен я для доказательства всем показать мятеж? А? Должен или нет?

– Ах вот оно что! И потом ты скажешь, что доктор виноват?

– Наконец-то дошло! Тут и тупице ясно, что мне бунт нужен, только чтобы подавить его. Я этот... слово еще у Макгрегора такое длинное?.. Я про-во-ка-тор. Умный провокатор, понимаешь? Э-э, где тебе. Сам разжигаю дураков, сам и ловлю. Чуть забурлят, а я их – хоп, и под арест! Кого повесят, кого в каторгу, а я – я буду первый, кто бросился в бой со злодеями. Бесстрашный, благородный У По Кин, герой Кьяктады!

Улыбнувшись и приосанившись, судья вновь принялся прохаживаться вперевалку туда-сюда. После некоторых молчаливых размышлений Ма Кин сказала:

– Все-таки не пойму зачем? Куда это ведет? И при чем здесь индийский доктор?

– Пустая твоя голова! Не помнишь разве, как я говорил: мне Верасвами поперек дороги. Что бунт его рук дело, может, и не доказать, но все равно доверие он потеряет, это точно. Европейцы наверняка подумают, что он как-то замешан, так уж мозги у них устроены. А Верасвами падает – я поднимаюсь, ему больше позора – мне больше чести. Теперь ясно?

– Ясно, что ум у тебя насквозь злой и план твой подлый. Не стыдно ли тебе все это мне рассказывать?

– Давай-давай! Давно не причитала?

– И почему тебе хорошо только, если другим вред? Ты подумай, как будет доктору, когда его уволят, каково будет тем несчастным деревенским, которых застрелят, или выпорют до полусмерти, или в тюрьму посадят на всю жизнь. Что тебе с этого? Денег все мало?

– Деньги! Кто говорит про деньги? Пора сообразить, что бывает кое-что поважнее. Слава. Величие. А вдруг сам губернатор орден к моей груди приколет? А? Не гордилась бы такой честью?

Ма Кин грустно покачала головой.

– Когда ты вспомнишь, что не вечный? Знаешь ведь, что настигнет творивших зло. Станешь вот жабой или крысой. Или еще хуже – в ад попадешь. Один священник рассказывал, он сам читал в англичанских святых книгах: тысячи веков два огненных копия будут терзать грешное сердце, а потом еще тысячи веков других ужасных адских казней. Не страшно?

У По Кин, смеясь, ладонью прочертил в воздухе волну, что означало «пагоды! пагоды!».

– Хорошо бы тебе перед смертью так смеяться, – вздохнула жена. – А вот мне бы не хотелось отвечать за такую жизнь.

Дернув худым плечиком, она снова зажгла сигару и отвернулась. Супруг еще немного походил, потом, остановившись, заговорил тоном гораздо более серьезным, даже несколько неуверенным:

– Слушай, Кин-Кин, я тебе одну вещь скажу, никогда никому не говорил, сейчас скажу.

– Не буду слушать про новое зло!

– Нет-нет. Ты вот все спрашиваешь «для чего?», думаешь, я хочу прихлопнуть Верасвами, потому что ненавижу таких чистюль. Не только потому. Есть кое-что – еще важнее для меня, да и тебя касается.

– Что же такое?

– Не мечтаешь ли ты иной раз о том, чтобы стать как-то повыше? Не обижает тебя, что наши, вернее, мои, успехи и не особенно заметны? Ну, накопил я много тысяч рупий, да, много, а погляди на этот дом – очень отличишь от простой хибары? Надоело есть деревенскую еду, общаться с туземной шушерой. Богатства мало, я хочу другого положения. А ты? Не желала бы ты как-то поднять свою жизнь, как-то, я назову это – возвыситься?

– Не знаю, чего еще тут хотеть. Мне, когда я жила в деревне, такие дома и не снились. Вон стулья наши, я на них хоть не сажусь, а любоваться-то какая гордость!

– Кх! В деревне тебе и место, бадьи на голове таскать. Но мне, хвала небу, честь дорога. И я теперь тебе открою, для чего мне падение Верасвами. Я намерен достичь действительно великого. Обрести самое высокое, самое благородное! Удостоиться высочайшей награды, какую только может заслужить житель Востока. Поняла уже, о чем я?

– Н-нет. О чем ты?

– Думай, думай! Мечта и цель всей моей жизни! Догадалась?

– Ой, знаю – ты хочешь купить автомобиль. Но уж не жди, По Кин, что я туда усядусь.

У По Кин горестно воздел руки.

– Автомобиль! Твоих мозгов орешки продавать не хватит! Да я бы накопил двадцать автомобилей, если бы захотел. На что они здесь? Нет, это нечто поистине грандиозное.

– Но что?

– А вот что. Белым вскоре надо будет принять в свой клуб какого-нибудь азиата. Очень не хочется им, но от комиссара приказ, так что уж выберут. Кого? Естественно, намечен самый крупный здешний чиновник-азиат, стало быть – Верасвами. Ну а если он весь замаран, то...

– Ну?

У По Кин смотрел на жену, и на его жирном лице с огромной хищной пастью вдруг проступило робкое умиление. Даже рыжие глазки увлажнились. Тихо, почти благоговейно он произнес:

– Не видишь? Не понимаешь, что тогда выберут меня?

Эффект был шоковый. Ма Кин, казалось, онемела. Все прежние триумфы мужа разом померкли.

И в самом деле. Заповедный, недостижимый, как нирвана, клуб европейцев! По Кин – голопузый нищий малыш из Мандалая, базарный воришка, мелкий писарь, рядовой туземный чиновник – сможет войти в таинственный великий храм и запросто болтать с белыми, пить из бокала виски, гонять палочкой шарики по зеленому столу! И деревенская Ма Кин, увидевшая свет сквозь щель соломенной лачуги, будет сидеть там, взгромоздясь на стул, в тесных чулках и жмущих туфлях с каблуками (высокими каблуками!), сидеть и, повторяя несколько слов индийского жаргона, беседовать с белыми леди о пеленках! Да, такое любого ослепит.

Ма Кин надолго замолчала, приоткрыв губы, зачарованно представляя волшебную европейскую роскошь. Впервые за всю жизнь интрига мужа не вызвала ее неодобрения. Что ж, вероятно, это было даже потруднее, чем прорваться в клуб европейцев, – разбудить честолюбие кроткой, непритязательной Ма Кин.

13

Пропустив у ворот чумазных оборванцев-санитаров, тащивших завернутое в дерюгу тело какого-то кули к неглубокой яме в лесу, Флори по твердой как камень, кирпичного цвета земле пошел через больничный двор. Окружавшие двор широкие террасы были забиты тихо и неподвижно лежавшими на голых койках больными. Между подпорками террас дремали или грызли блох шелудивые дворняги, по слухам кормившиеся отходами хирургических операций. Все выглядело ветхо и неряшливо. Боровшийся за гигиену доктор Верасвами не мог одолеть пыль, недостаток воды, лень санитаров и невежество фельдшеров. У доктора, сказали Флори, сейчас амбулаторный прием.

Обстановка приемного кабинета с покрытыми штукатуркой стенами ограничивалась столом, парой стульев и запыленным, очень мало похожим на оригинал портретом королевы Виктории. Вдоль стены ежились, дожидаясь своей очереди, крестьяне в линялых тряпках. Доктор, без пиджака, мокрый от пота, с обычным суетливым восторгом встретил Флори, усадил, подвинул ему пачку сигарет.

– Какой восхитительный виссит, друг мой! Располагайтесь, отдыхайте! Если тут, эххе-хе, возможно отдохнуть. Мы пойдем ко мне, там уж поговорим как полагается, с пивом и прочим. Только, простите великодушно, я должен принять население.

Минуту спустя Флори уже плавился, задыхаясь в спертом, раскаленном воздухе. Один за другим подходили пациенты, всеми своими порами, казалось, источавшие чесночный дух. Доктор вспрыгивал со стула, сыпал вопросами на ломаном бирманском, вертел человека, прижимался смуглым ухом к спине, груди, снова отпрыгивал к столу и торопливо строчил рецепт. Потом по этим рецептам аптекарь в своей каморке выдавал крестьянам разнообразно окрашенную воду, поскольку с жалованьем в двадцать пять рупий поддерживал себя подпольной продажей медикаментов (для доктора аптекарский бизнес, разумеется, оставался тайной).

Нередко ввиду срочных хирургических операций амбулаторные осмотры поручались фельдшеру, чья метода отличалась быстротой и крайней простотой. После ответа на единственный вопрос: «Где болит: голова, кости, брюхо?» – пациенту немедленно вручалась бумажка из трех заготовленных стопок. Больные, надо сказать, предпочитали фельдшера, который не пытал их всякими неприличными вопросами и никогда не предлагал операцию – до смерти пугавшую «живорезку».

Проводив последнего пациента, доктор откинулся на стуле, обмахиваясь рецептурным блокнотом.

– Ахх, жара! Этот чеснок меня доконает! А вы еще дышите, мистер Флори? У англичан чрезвычайно чувствительное обоняние. Как вам, наверно, тяжело на нашем пахучем Воссстоке!

– Предлагаю вывесить над Суэцким каналом предупреждение: «Заткни нос, всяк сюда входящий!» Вы очень заняты?

– Как всегда. Но знали бы вы, друг мой, сколько препон врачу в этой стране! Невежество кромесное! Крестьян в больницу не заманить, им лучше гангрена или опухоль с арбуз, чем нож хирурга. А чем лечат их «знахари»? Травой, собранной в новолуние, усами тигра, толченым рогом носорога, мочой, менструальной кровью! Как только они эти эликсиры в рот берут.

– Однако довольно живописно. Вам надо бы составить атлас бирманской фармакопеи.

– Сътадо варваров, сътадо варваров! – восклицал доктор, не попадая в рукава полотняного пиджака. – Зайдем ко мне? Есть пиво, и немного льда еще, по-моему, осталось. Потом у меня экстренная операция, ущемление грыжи, но до десяти я свободен.

– Спасибо, доктор. Я ненадолго.

На веранде у доктора хозяин, огорченно обнаружив в холодильном чане вместо льда болото мокрой соломы, вытащил качавшуюся бутылку пива и с беспокойством крикнул слугам срочно пополнить ассортимент напитков. Флори, не снимая панамы, стоял у перил. Пришел он, чтобы извиниться. Со дня, когда в клубе был вывешен хамский протест относительно приема аборигена, он друга не навещал. Однако совесть взяла свое. Психолог У По Кин все-таки не совсем правильно оценил малодушного Флори, полагая, что парой анонимок отпугнет его от друга.

– Доктор, вам ведь известно, о чем я должен сказать?

– Мне? О чем?

– Ну, не притворяйтесь. Я был свиньей, подмахнув в клубе ту бумажонку. Это, конечно, не секрет для вас, но я хотел бы объяснить...

– Нет-нет, друг мой, нет-нет, не объясняйте! – Доктор заметался по веранде, затем, подскочив к Флори, схватил его за рукав. – Вы не должны, я все-все понимаю.

– Да нет, вам не понять, как идешь на такие пакости. Никто меня не пугал, не вынуждал, официально нам даже предписано дружелюбие к туземцам. Но только очень уж рискованный малый пойдет за местного против своих. *Не принято*. Посмей я отказаться, получил бы пару недель обструкции от сотоварищей. Так что я, как обычно, сдрейфил.

– Мистер Флори, мистер Флори! Пожалуйсьте! Не продолжайте, не смущайте меня. Как же иначе на вашем месте? Разве я не понимаю!

– Да уж, вы знаете наш лозунг: «Помни, и в Индии ты англичанин!».

– Конессно же, конессно. А также ваш благороднейший девиз «Держаться плечом к плечу!» – вот где суть британского превосходства над Восьютоком.

– Ну, девизами подлость не оправдаешь. Я-то пришел сказать, что никогда больше...

– Друг мой, я просто умоляю оставить эту тему! Пройдено и забыто. Пожалуйсьте, пейте пиво, пока не нагрелось. Вы, между прочим, не спросили о новостях.

– А! Выкладывайте. Как там старушонка Империя, не окочурилась?

– Плоха, плоха, ой как плоха! Хотя, пожалуй, мне, друг мой, еще ужаснее. Иду ко дну.

– Что? Снова У По Кин, туша зубастая, сплетни распускает?

– Если бы только сплетни. Теперь уже нечто просто сатанинское. Вы слышали про тлеющий в деревне бунт?

– Слышал что-то. Вестфилд мечтал всех перерезать, но, вот бедняга, не нашел кого. Вроде бы поселяне податью недовольны.

– А знаете сумму налога? Пять рупий! Ослы несчастные, конечно, поворчат и заплатят, обычная история. Но бунт, *якобы* бунт – о! Мистер Флори, вы должны знать, за всем этим кроется нечто большее.

– Неужели?

Беззлобный доктор вдруг так свирепо стукнул стаканом о стол, что расплескал свое пиво.

– Негодяй У По Кин! Слов нет! Зверь! Крокодил! Это, это же...

– Так-так, продолжайте: бревно с клыками, клизма с ядом, сундук с навозом! Что ж он еще замышляет?

– О-о, неслыханную подлость!

И доктор довольно полно изложил тот провокационный план, который сам У По Кин недавно разъяснял жене. Единственное, о чем не был осведомлен Верасвами, – честолюбивое желание судьи пробиться в Европейский клуб. От возмущения темнокожее лицо доктора не то чтобы вспыхнуло, но еще больше потемнело. Флори изумленно застыл.

– Вот гад коварный! Кто бы мог подумать? Но как вам удалось это узнать?

– Ахх, есть еще нессыколко верных людей. Теперь вы видите, друг мой, что мне грозит? Он уже облил меня грязью, а если, не дай бог, разгорится нелепый мятеж, он сделает все, чтобы

как-нибудь примешать к этому мое имя. Тень подозрения в неблагонадежности меня погубит; намеков на то, что я хотя бы сочувствовал бунтовщикам, — и мне конец!

— Но черт возьми, это же просто смешно! Как-то ведь можно защититься.

— Как? Если правда мне неизвестна, но доказать ничего невозможно. Потребую я официального расследования, а он на каждого моего свидетеля выведет полсотни своих. Сила его влияния огромна, весь округ перед ним трепещет, никто не посмеет и слова вымолвить против него.

— А зачем вам что-то доказывать? Пойдите и расскажите все Макгрегору, в каком-то смысле он парень честный, он вас выслушает.

— Бесполезно, бесполезно, мистер Флори! Ахх, вы не сведущи в интригах. Недаром мудрый французский афоризм гласит: «Qui s'excuse, s'accuse» — «Кто ищет оправданий, тот виновен». Жалобы будут лишь себе во вред.

— Так что же делать?

— Ничего. Только ждать и надеяться на ссвою репутацию. Когда дело касается туземного чиновника, все, абсолютно все, зависит от отношения европейцев: доверяют они ему — он спасен, не доверяют — гибнет. Вес моего престижа все решит.

Минуту стояла тишина. Флори отлично знал цену престижа в этой стране. Не раз случалось наблюдать запутанные, сложные конфликты, где подозрение оказывалось гораздо сильнее аргумента, а репутация — важнее факта. Внезапно появилась мысль, испугавшая его самого. Но вместе с тревожным холодком проросла невозможная еще недели три назад уверенность. Наступил миг, когда ты совершенно ясно видишь, как ты, забыв про все силы на свете, должен, обязан поступить.

— А предположим, вас избрали в клуб? — прервал молчание Флори.

— О, если бы! Клуб — это крепость, за стенами которой любые слухи обо мне значили бы не больше шепота о вас, или о мистере Макгрегоре, или о любом из европейских джентльменов. Но столько подозрений уже посеяно насчет меня, разве можно надеяться?

— Ладно, слушайте, доктор. На следующем собрании я выдвину вашу кандидатуру. Знаю, вопрос об этом непременно встанет, и, если имя кандидата будет названо, почти уверен, что никто, кроме Эллиса, не положит черный шар. А пока...

— Ахх, друг мой, дорогой мой друг! — Чувства душили доктора, он схватил Флори за руку. — Как это благородно с вашей стороны! Как благородно! Однако мне очень неловко. Я боюсь, не навлечет ли это на вас недовольство ваших друзей? Того же, например, мистера Эллиса?

— Да провались он! Только, доктор, я ничего не могу обещать. Тут уж какую речь толкнет Макгрегор, какое будет настроение у прочих. Может, ничего и не выйдет.

Доктор по-прежнему сжимал руку Флори в своих пухлых, влажных ладонях. Крупные слезы, увеличенные линзами очков, блестели на его карих, по-собачьи преданных глазах.

— Ахх, если бы! И конец моим бедам! Однако будьте осммотрительны, мой друг, остерегайтесь У По Кина, вы станете ему преградой, а он опасен даже для вас.

— Не достанет! Пока что ничего он не придумал, кроме парочки глупых анонимок.

— О, я бы не был так уверен. Он находчив и ради ссвоих целей землю и небо перевернет. К тому же все уязвимы, а он всегда умеет найти слабое место.

— Как крокодил?

— Как крокодил, — очень серьезно подтвердил доктор. — Но клуб, друг мой! Господи! Каким счастьем стало бы для меня приобщение к вашему Европейскому клубу! Состоять в товариществе нассытоящих джентльменов! Да, мистер Флори, еще нечто, о чем я до сих пор не потрудились упомянуть. Полагаю, заранее понятно, что я никак не претендую как-либо *пользоваться* клубом? *Приходить* в клуб, я, разумеется, не осмелюсь.

— Не будете ходить?

– Нет-нет, избави меня Бог навязывать джентльменам свое общество. Я проссьто буду платить взносы. Это для меня уже высокая, высшая честь. Вы меня понимаете?

– Вполне, доктор, вполне.

На холм Флори поднимался, невольно посмеиваясь. Он твердо решил выдвинуть кандидатуру доктора. Вот шум в клубе поднимется, дьявольский будет вой! Ну-ну, посмотрим! Перспектива, месяц назад страшившая, теперь даже воодушевляла.

А почему? Что вообще побудило дать решительное обещание? Поступок, конечно, невелик – ничего героического, да и риска никакого, – но все-таки так непохоже на него. Долго, много лет осторожничать, исправно исполняя ритуалы благородных белых господ, – и вдруг столь неожиданная храбрость? С чего это?

Он знал причину – Элизабет. Она появилась, и будто сгинули все эти тошнющие, горькие годы. Будто повеял ветер Англии, прекрасной Англии, где мысль свободна и не нужно вечно изображать пакка-сахиба, наставляющего низшие расы. «Где ты, где ты, жизнь моя былая?»³⁵ – мурлыкал Флори. Одно присутствие Элизабет, одно ее существование переменило все, вдохнуло силы жить достойно.

³⁵ Строчка песенки, которую напевает Петруччо перед свадьбой с Катариной в комедии Шекспира «Укрощение строптивой».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.